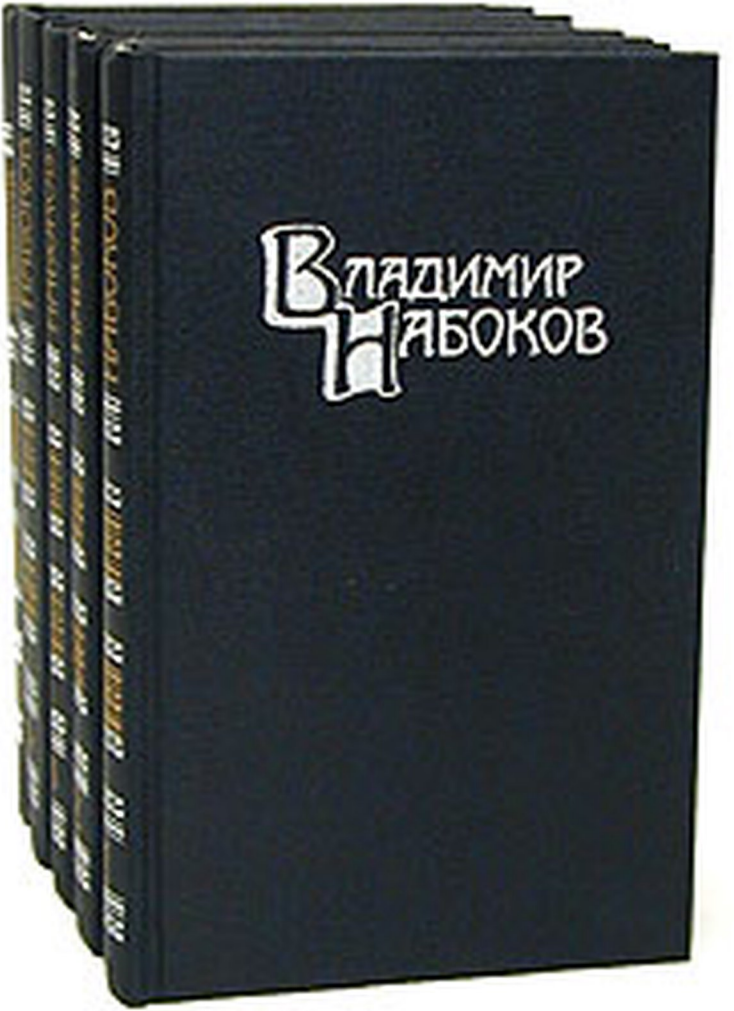
Владимир
Набоков

# Машенька

## Владимир Владимирович Набоков

Владимир Набоков. Машенька
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

# Владимир Набоков. Машенька

***Посвящаю моей жене***

*...Воспомня прежних лет романы,*
*Воспомня прежнюю любовь...*
***Пушкин***

# I

— Лев Глево… Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно…

— Можно, — довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положеньем, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком.

— Я неспроста осведомился о вашем имени, — беззаботно продолжал голос, — По моему мнению, всякое имя…

— Давайте, я опять нажму кнопку, — прервал его Ганин.

— Нажимайте. Боюсь, не поможет. Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее; а жену зовут совсем просто: Мария. Кстати, позвольте представиться: Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил…

— Очень приятно, — сказал Ганин, нащупывая

в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. — А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Черт…

— Сядем-ка на лавку да подождем, — опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. — Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил: земляк. Скажите, вы давно живете в этом пансионе?

— Давно. Спички у вас есть?

— Нету. Не курю. А пансион грязноват, — даром, что русский. У меня, знаете, большое счастье: жена из России приезжает. Четыре года, — шутка ли сказать… Да-с. А теперь не долго ждать. Нынче уже воскресенье.

— Тьма какая… — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. — Интересно, который час…

Алферов шумно вздохнул; хлынул теплый, вялый запашок не совсем здорового, пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запашке.

— Значит, — осталось шесть дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконца не

открываются.

— Я не прочь их разбить, — сказал Ганин.

— Бросьте, Лев Глебович; не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь пти-жо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово?

— Увольте, — сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку.

— Швейцар давно почивает, — всплыл голос Алферова, — так что и стучать бесполезно.

— Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь.

— Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на терра фирма, мы друг друга не знали, да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещеньице вместе. Кстати сказать, — какой тут пол тонкий! А под ним — черный колодец. Так вот, я говорил: мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх и вдруг — стоп. И наступила тьма.

— В чем же, собственно говоря, символ? — хмуро спросил Ганин.

— Да вот, в остановке, в неподвижности, в темноте этой. И в ожиданьи. Сегодня за обедом

этот, — как его… старый писатель… да, Подтягин… — спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожиданья. Вы сегодня тут не обедали. Лев Глебович? — Нет. Был за городом.

— Теперь — весна. Там, должно быть, приятно.

Голос Алферова на несколько мгновений пропал и когда снова возник, был неприятно певуч, оттого что, говоря, Алферов вероятно улыбался:

— Вот когда жена моя приедет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?

— Так точно, — сухо ответил Ганин.

— Совсем уезжаете из Берлина?

Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден, Алферов поерзал на лавке, раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут десять; вдруг наверху что-то щелкнуло.

— Вот это лучше, — усмехнулся Ганин.

В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, — как говорится,

демисезонном — и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах, — в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф.

Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился.

— Чудеса, — заулыбался Алферов, открыв дверь… — Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйте, Лев Глебович; за вами.

Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен.

— Чудеса, — повторял Алферов, — поднялись, а никого и нет. Тоже, знаете, — символ…

# II

Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживалась в голый, очень тесный коридор. По бокам было по три комнаты с крупными, черными цифрами, наклеенными на дверях: это были просто листочки, вырванные из старого календаря — шесть первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской — первая дверь налево — жил теперь Алферов, в следующей — Ганин, в третьей — сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет двадцать тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо — от четвертого по шестое апреля — жили: старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара — полногрудая барышня с за-

мечательными синевато-карими глазами, — и наконец — в комнате шестой, на сгибе коридора — балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая, с литографической «Тайной Вечерью» на стене против двери и с рогатыми желтыми оленьими черепами по другой стене, над пузатым буфетом, где стояли две хрустальные вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо: там дальше, в трагических и неблаговонных дебрях, находились кухня, каморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины, Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую изобретательность в смысле распределения всех

тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов, а вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо отошел к танцорам, жившим в комнате шестой. Чета зеленых кресел тоже разделилась: одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса, черная, толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки. А на полке, в комнате у Клары, стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем как остальные тома попали к Подтягину. Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками; в каждом же из других номеров был просто плотный поставец, и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить, и это

госпожа Дорн сделала скрепя сердце, не потому что была скупа, а потому что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка, и в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнаты она убирала сама, да притом кое-как, стряпать же вовсе не умела и держала кухарку, грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять своею соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семеня тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так, просто, глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась, как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой сор из-под мебели, — и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтя-

гин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской, мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница, и где очень дешевы длинные хрустящие булки и красное вино. Старушка кивала головой, иногда расспрашивала его о других жильцах и в особенности о Ганине, который ей казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебывавших у нее в пансионе. Ганин, прожив у нее три месяца, собирался теперь съезжать, сказал даже, что освободит комнату в эту субботу, но собирался он уже несколько раз, да все откладывал, перерешал. И Лидия Николаевна со слов старого мягкого поэта знала, что у Ганина есть подруга. В том-то и была вся штука.

За последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь, подобно парусу, умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь, — желанье перемахнуть через забор, расшатать столб, словом

— ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться и сам признавался Подтягину, что, «как баба», страдает бессонницей. Плохо он спал и в ту ночь с воскресенья на понедельник, после двадцати минут, проведенных с развязным господином в застрявшем лифте. В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые, холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны, — всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, — и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья. Особенно трудиться ему сейчас не приходилось, так как за зиму он накопил некоторую сумму, от которой впрочем оставалось теперь марок двести, не больше: эти три последних месяца обошлись дороговато.

В прошлом году, по приезде в Берлин, он сразу нашел работу и потом до января трудился, — много и разнообразно: знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику; знал тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане «Pir Goroi»; знал он и другие

труды, брал на комиссию все, что подвернется, — и бублики, и бриллиантин и просто бриллианты. Не брезговал он ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку, за город, где в балаганном сарае, с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, — но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали красноватые зори: — наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безымянные тени наши пущены по миру.

Оставшихся денег было бы достаточно, чтобы выехать из Берлина. Но для этого пришлось бы порвать с Людмилой, а как порвать, — он не знал. И хотя он поставил себе сроком неделю и объявил хозяйке, что окончательно решил съехать в субботу, Ганин чувствовал, что ни эта неделя, ни следующая не изменят ничего. Меж тем тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной. Окно его выходило на полотно железной дороги, и потому возможность уехать дразнила неотвязно. Каждые пять минут сдержанным гулом начинал ходить дом, затем громада дыма

вздымалась перед окном, заслоняя белый берлинский день, медленно расплывалась, и тогда виден был опять веер полотна, суживающийся вдаль, между черных задних стен, словно срезанных, домов, и над всем этим небо, бледное как миндальное молоко.

Ганину было бы легче, если бы он жил по ту сторону коридора, в комнате Подтягина, Клары или танцоров: окна там выходили на скучноватую улицу, поперек которой висел, правда, железнодорожный мост, но где не было зато бледной, заманчивой дали. Мост этот был продолженьем рельс, видимых из окна Ганина, и Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома; вот он вошел с той стороны, призрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на рукомойнике, уходит, наконец, с холодным звоном в окно, — и сразу за стеклом вырастает туча дыма, спадает, и виден городской поезд, изверженный домом: тускло-оливковые вагоны с темными сучьими сосками вдоль крыш и куцый паровоз, что, не тем концом прицепленный, быстро пятится, оттягивает вагоны в белую даль между слепых стен, сажная чернота которых местами облупилась,

местами испещрена фресками устарелых реклам. Так и жил весь дом на железном сквозняке.

«Уехать бы», — тоскливо потягивался Ганин и сразу осекался: а как же быть-то с Людмилой? Ему было смешно, что он так обмяк. В прежнее время (когда он ходил на руках или же прыгал через пять стульев) он умел не только управлять, но и играть силой своей воли. Бывало, он упражнял ее, заставлял себя, например, встать с постели среди ночи, чтобы выйти на улицу и бросить в почтовый ящик окурок. А теперь он не мог заставить себя сказать женщине, что он ее больше не любит. Третьего дня она пять часов просидела у него; — вчера, в воскресенье, он целый день провел с нею на озерах под Берлином, не мог ей отказать в этой дурацкой поездке. Ему теперь все противно было в Людмиле: желтые лохмы, по моде стриженные, две дорожки невыбритых темных волосков сзади на узком затылке; томная темнота век, а главное — губы, накрашенные до лилового лоску. Ему противно и скучно было, когда после схватки механической любви она, одеваясь, щурилась, отчего глаза ее сразу делались неприятно-мохнатыми, и говорила: «я, знаешь, такая чуткая, что отлично замечу, как только ты станешь любить меня меньше». Ганин

не отвечал, отворачивался к окну, где вырастала белая стена дыма, и тогда она посмеивалась в нос и глуховатым шепотком подзывала: «ну, поди сюда...» Тогда ему хотелось заломить руки, так, чтобы сладко и тоскливо хрустнули хрящи, и спокойно сказать ей: «убирайся-ка, матушка, прощай». Вместо этого он улыбался, склонялся к ней. Она бродила острыми, словно фальшивыми, ногтями по его груди и выпучивала губы, моргала угольными ресницами, изображая, как ей казалось, обиженную девочку, капризную маркизу. Он чувствовал запах ее духов, в котором было что-то неопрятное, несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего двадцать пять лет. Он дотрагивался губами до ее маленького, теплого лба, и тогда она все забывала, — ложь свою, которую она, как запах духов, всюду влачила за собой, ложь детских словечек, изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она будто бы страстно любит, каких-то По и Бодлеров, которых она не читала никогда, забывала все то, чем думала пленить, и модную желтизну волос, и смугловатую пудру, и шелковые чулки поросячьего цвета, — и всем своим слабым, жалким, ненужным ему телом припадала к Ганину, закинув голову.

И тоскуя и стыдясь, он чувствовал, как бес-

смысленная нежность, — печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно скользнула когда-то любовь, — заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ, но нежностью этой не был заглушен спокойный насмешливый голос, ему советовавший: «а что, мол, если вот сейчас отшвырнуть ее?»

Вздохнув, он с тихой улыбкой глядел на ее поднятое лицо и ничего не мог ей ответить, когда, вцепившись ему в плечи, она летучим каким-то голосом — не тем прежним носовым шепотком — молила, вся улетала в слова: «Да скажи ты мне наконец, — ты меня любишь?» Но заметив что-то в его лице, — знакомую тень, невольную суровость, — она опять вспоминала, что нужно очаровывать — чуткостью, духами, поэзией — и принималась опять притворяться то бедной девочкой, то изысканной куртизанкой. И Ганину становилось скучно опять, он шагал вдоль комнаты от окна к двери и обратно, до слез позевывал, и она, надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним.

Клара, полногрудая, вся в черном шелку, очень уютная барышня, знала, что ее подруга бывает у Ганина, и ей становилось тоскливо и неловко, когда та рассказывала ей о своей любви. Кларе

казалось, что эти чувства должны быть тише, без ирисов и скрипичных вскриков. Но еще невыносимее было, когда подруга, щурясь и выпуская сквозь ноздри папиросный дым, начинала ей передавать еще не остывшие, до ужаса определенные подробности, после которых Клара видела чудовищные и стыдные сны. И последнее время она избегала Людмилу из боязни, что подруга вконец ей испортит то огромное и всегда праздничное, что зовется смазливым словом «мечта». Острое, несколько надменное лицо Ганина, его серые глаза с блестящими стрелками, расходящимися вокруг особенно крупных зрачков, и густые, очень темные брови, составлявшие, когда он хмурился или внимательно слушал, одну сплошную черную черту, но зато распахивавшиеся, как легкие крылья, когда редкая улыбка обнажала на миг его прекрасные, влажно-белые зубы, эти резкие черты так нравились Кларе, что она в его присутствии терялась, говорила не так, как говорить бы хотела, да все похлопывала себя по каштановой волне прически, наполовину прикрывавшей ухо, или же поправляла на груди черные складки, отчего сразу у нее выдавалась вперед нижняя губа, и намечался второй подбородок. Впрочем, с Ганиным

она встречалась не часто, раз в день за обедом, и только однажды ужинала с ним и с Людмилой в той скверной пивной, где он по вечерам ел сосиски с капустой или холодную свинину. За обедом в унылой пансионной столовой она сидела против Ганина, так как хозяйка разместила своих жильцов приблизительно в том же порядке, в каком находились их комнаты: таким образом Клара сидела между Подтягиным и Горноцветовым, а Ганин между Алферовым и Колиным. Маленькая, черная, меланхолически-чопорная фигура самой госпожи Дорн в конце стола, между обращенных друг к другу через стол профилей напудренных, жеманных танцоров, которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стесненная своей легкой глухотой, и только следила, чтобы громадная Эрика вовремя приносила и уносила тарелки. И то и дело ее крошечная, морщинистая рука, как сухой лист, взлетала к висячему звонку и спадала опять, мелькнув блеклой желтизной.

Когда в понедельник, около половины третьего, Ганин вошел в столовую, все уже были в сборе. Алферов, увидя его, приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча

кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол пенсне на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал ему о тяжелой Людмилиной любви и теперь жалел об этом. Колин, его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку супа и при этом взглянул на него так вкрадчиво, так улыбнулись его странные, с поволокой, глаза, что Ганину стало неловко. Меж тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова, возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него.

— Напрасно хаете, Антон Сергеевич. Культурнейшая страна. Не чета нашей сторонушке.

Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину.

— Поздравьте меня, сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай да к президенту в гости.

У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и

матовый. Полное, гладкое лицо, с седою щеточкой под самой нижней губой и с отступающим подбородком, было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож на большую поседевшую морскую свинку.

— Очень рад, — сказал Ганин. — Когда же вы едете?

Но Алферов не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей, в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком.

— Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та — просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уж где-нибудь жительствовать…

— Но я же говорю вам, — мягко прервал Подтягин, — горы бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца! Полки под ними так и ломятся. И полицейский чиновник, пока отыскал мою фамилию, чуть не подох от натуги. Вы вообще не можете себе и представить (при словах «и представить» Подтягин тяжело и жалобно повел

головой), сколько человеку нужно перестрадать, чтобы получить право на выезд отсюда. Одних бланков сколько я заполнил. Сегодня уж думал — стукнут мне выездную визу… Куда там… Послали сниматься, а карточки только вечером будут готовы.

— Очень все правильно, — закивал Алферов, — так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак. Вы обратили внимание, например, что на парадных дверях написано? «Только для господ». Это знаменательно. Вообще говоря, разницу между, скажем, нашей страной и этой можно так выразить: вообразите сперва кривую, и на ней…

Ганин, не слушая дальше, обратился к Кларе, сидевшей против него.

— Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтобы вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это насчет кинематографа, кажется.

Клара растерянно подумала: «как он это так просто говорит о ней… Ведь он знает, что я знаю…»

Она спросила ради приличия:

— Ах, вы ее вчера видели?

Ганин удивленно двинул бровями и продол-

жал есть.

— Я не совсем понимаю вашу геометрию, — тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике.

— Да как же, это так ясно, — взволновался Алферов, — вообразите…

— Не понимаю, — твердо повторил Подтягин и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот. Алферов быстро развел руками, сшиб стакан Ганина.

— Ах, извините!..

— Пустой, — сказал Ганин.

— Вы не математик, Антон Сергеич, — суетливо продолжал Алферов. — А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха…

Горноцветов и Колин залились тонким смехом. Госпожа Дорн вздрогнула, испуганно посмотрела на обоих.

— Одним словом: цифра и цветок, — холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды, все смотрели на его движенье.

— Да, вы правы, нежнейший цветок, — про-

тяжно сказал Алферов, окинув соседа своим блестящим, рассеянным взглядом.

— Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая… Вы — поэт, Антон Сергеевич, опишите-ка такую штуку, — как женственность, прекрасная русская женственность, сильнее всякой революции, переживает все, — невзгоды, террор…

Колин шепнул Ганину: «Вот он опять… Вчера уже только и было речи, что об его жене…»

«Экий пошляк, — подумал Ганин, глядя на движущуюся бородку Алферова, — а жена у него, верно, шустрая… Такому не изменять — грех…»

— Сегодня — барашек, — провозгласила вдруг Лидия Николаевна деревянным голоском, исподлобья глядя, как жильцы ее невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и продолжал:

— Напрасно, батюшка, не берете такой темы. — (Подтягин мягко, но решительно мотал головой.) — Может быть, когда увидите мою жену, то поймете, что я хочу сказать… Кстати она очень любит поэзию. Столкуетесь. И я вам вот еще что скажу…

Колин, украдкой, отбивал такт, искоса посмат-

ривая на Алферова. Горноцветов тихо покатывался со смеху, глядя на палец своего друга.

— А главное, — все тараторил Алферов, — ведь с Россией — кончено. Смыли ее, как вот знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже…

— Однако… — усмехнулся Ганин.

— Не любо слушать, Лев Глебович?

— Не любо, но не мешаю, Алексей Иванович.

— Что же, вы тогда считаете, может быть, что…

— Ах господа, — своим матовым, чуть шепелявым голосом перебил Подтягин, — без политики. Зачем политика?

— А все-таки, мсье Алферов не прав, — неожиданно вставила Клара и проворно поправила прическу.

— Ваша жена приезжает в субботу? — через весь стол невинным голосом спросил Колин, и Горноцветов прыснул в салфетку.

— В субботу, — ответил Алферов, отставляя тарелку с недоеденной бараниной. Его глаза, заблиставшие было воинственным огоньком, сразу задумчиво погасли,

— Знаете что, Лидия Николаевна, — сказал он, — мы вчера с Глеб Львовичем в лифте застряли.

— Компот, — ответила госпожа Дорн, — грушевый.

Танцоры расхохотались. Эрика, толкая боками локти сидевших за столом, стала убирать тарелки. Ганин тщательно свернул салфетку, втиснул ее в кольцо и встал. Сладкого он не ел.

«Тощища какая… — думал он, возвращаясь в свою комнату, — И что мне теперь делать? Выйти погулять что ли?..»

Этот день его, как и предыдущие, прошел вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было. Подняв воротник старого макинтоша, купленного за один фунт у английского лейтенанта в Константинополе, и крепко засунув кулаки в карманы, он медленно, вразвалку, пошатался по бледным апрельским улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков, и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель Мавритании, на цветные шнуры, соединяющие гавани двух материков на большой карте. И в глубине была фотография тропической рощи, — шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом небе.

Он с час попивал кофе, сидя у чистого огром-

ного окна, и смотрел на прохожих. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посредине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл «рассеянье воли». Он сидел не шевелясь перед столом и не мог решить, что ему делать: переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки… Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть, словно навсегда слипшиеся, веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его всего, претворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наважденье. А сил не было потому, что не было у него определенного желанья, и мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить свет. Ему казался немыслимым чудом этот простой переход от намеренья к его осуществленью. Ничто не украшало его бесцветной тоски, мысли ползли без связи, сердце билось

тихо, белье докучливо липло к телу. То казалось ему, что вот сейчас нужно написать к Людмиле письмо, твердо объяснить ей, что пора прервать этот тусклый роман, то вспоминалось ему, что вечером нужно с ней идти в кинематограф, и почему-то было гораздо труднее решиться позвонить, чтобы отказаться от сегодняшней встречи, нежели написать письмо, и потому он не мог исполнить ни того, ни другого.

А сколько раз уже он клялся себе, что завтра же с нею порвет, придумывал без труда нужные выражения, но никак не мог себе представить вот ту последнюю минуту, когда пожмет ей руку и спокойно выйдет из комнаты. Вот это движенье — повернуться, уйти — казалось немыслимым. Он был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно неспособны ни к отречению, ни к бегству, — что в конце концов одно и то же. Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд, и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь.

Он не знал, какой толчок извне должен про-

изойти, чтобы дать ему силы порвать трехмесячную связь с Людмилой, так же как не знал, что именно должно случиться, чтобы он мог встать со стула. Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состояние ищущего, высокого, почти неземного волненья, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное — идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, — и превращающей это наше простое движенье в какой-то внутренний танец, в значительный и бессмертный жест.

Эта музыка смолкла в тот миг, когда ночью, на тряском полу темного таксомотора, Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным, — женщина, поправлявшая шляпу, что съехала ей на затылок, огни, мелькавшие мимо окон, спина шофера, горой черневшая за передним стеклом.

Теперь приходилось расплачиваться за эту ночь трудным обманом, продолжать эту ночь без конца и бессильно, безвольно предаваться ее ползучей тени, которая теперь насытила все углы комнаты, превратила мебель в облака. Он впал в туманную дремоту, подперев лоб ладонью

и странно вытянув под столом одеревеневшие ноги.

.....

А потом, в кинематографе, стало людно и жарко. Очень долго молча, без музыки, по экрану мелькали крашеные рекламы, рояли, платья, духи. Наконец заиграл оркестр, и началась драма.

Людмила была весела необычайно. Она пригласила Клару пойти вместе, оттого что отлично чувствовала, что той нравится Ганин, и хотела доставить удовольствие и ей, и самой себе, щегольнуть своим романом и умением его скрывать. Клара же согласилась пойти, оттого что знала, что Ганин в субботу собирается уезжать, и между прочим удивлялась, что Людмила словно об этом не знает, — или может быть нарочно ничего не говорит, а уедет с ним вместе.

Ганин, сидевший между ними, был раздражен тем, что Людмила, как большинство женщин ее типа, все время, пока шла картина, говорила о посторонних вещах, перегибалась через колени Ганина к подруге, обдавая его каждый раз холодным, неприятно-знакомым запахом духов. Меж тем картина была занимательная, прекрасно сделанная.

— Послушайте, Людмила Борисовна, — не вы-

держал наконец Ганин, — перестаньте шептать. Уже немец за мной сердится.

Она в темноте быстро глянула на него, откинулась, посмотрела на сияющее полотно.

— Я ничего не понимаю, сплошная чепуха какая-то. — Вольно было вам шептать, — сказал Ганин. — Не мудрено, что ничего не понимаете.

На экране было светящееся, сизое движение: примадонна, совершившая в жизни своей невольное убийство, вдруг вспоминала о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостки. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобренья. И внезапно Ганину померещилось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху, или наводивших слепительные жерла юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица

дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь, лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа — театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганьем стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил, как они все должны были глядеть вперед, на воображаемую сцену, где никакой примадонны не было, а стоял на помосте среди фонарей толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор.

Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии.

И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый

облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновенье зал, повернувшись как корабль, ушел, и теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. «Не знаем, что творим», — с отвращеньем подумал Ганин, уже не глядя на картину.

Людмила снова шепталась с Кларой — о какой-то портнихе, материи, — драма подходила к концу, и Ганину было смертельно скучно. Когда через несколько минут они пробирались к выходу, Людмила к нему прижалась, шепнула: «Позвоню тебе завтра в два, миленький…»

Ганин и Клара проводили ее до дому и потом вместе пошли в свой пансион. Ганин молчал, и Клара мучительно старалась найти тему для разговора.

— Вы, говорят, в субботу уезжаете? — спросила она.

— Не знаю, ничего не знаю… — хмуро ответил Ганин.

Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее, и как долго она будет мыкаться по свету.

И когда потом он лег в постель и слушал поезда, насквозь проходившие через этот унылый Дом, где жило семь русских потерянных теней, — вся жизнь ему представилась той же съемкой, во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине он участвует.

Ганин не мог уснуть; в ногах бегали мурашки, и подушка мучила голову. И среди ночи, за стеной, его сосед Алферов стал напевать. Сквозь тонкую стену слышно было, как он шлепает по полу, то близясь, то удаляясь, и Ганин лежал и злился. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у.

Ганин не выдержал. Он натянул штаны, вышел в коридор и кулаком постучал в дверь первого номера. Алферов, среди блужданья своего, оказался как раз против двери и сразу отпахнул ее, так что Ганин даже вздрогнул от неожиданности.

— Пожалуйте, Лев Глебович, милости просим.

Он был в сорочке и подштанниках, золотистая бородка слегка растрепалась, — оттого, верно, что он песенки выдувал, — и в бледно-голубых глазах так и металось счастье.

— Вы вот поете, — сказал Ганин, сдвинув брови, — а мне это мешает спать.

— Да входите же, голубчик, что это вы, право, на пороге топчетесь, — засуетился Алексей Иванович, неловко и ласково беря Ганина за талию. — Простите великодушно, если мешал.

Ганин неохотно вошел в комнату. В ней было очень мало вещей и очень много беспорядка. Один из двух стульев, вместо того, чтобы стоять у письменного стола (той дубовой махины, на которой была чернильница в виде большой жабы), забрел было в сторону маленького умывальника, но на полпути остановился, видимо спотыкнувшись об отвернутый край зеленого коврика. Другой стул, что стоял у постели и служил ночным столиком, исчезал под черным пиджаком, павшим на него словно с Арарата, так он тяжело и рыхло сел. На дубовой пустыне стола, а также на постели, разбросаны были тонкие листы. На этих листах Ганин мельком заметил карандашные чертежи, колеса, квадраты, сделанные без всякой технической точности, а так, кое-как, ради препровожденья времени. Сам Алферов в своих теплых подштанниках, делающих всякого мужчину, будь он строен как Адонис и изящен как Бруммель, необыкновенно непривлекательным, уже опять расхаживал среди этого комнатного бурелома, щелкая ногтем то по зеленому колпаку

настольной лампы, то по спинке стула.

— Я страшно рад, что вы наконец ко мне заглянули, — говорил он, — сам-то я не в состоянии спать. Подумайте, — в субботу моя жена приезжает. А завтра уже вторник… Бедняжка моя, представляю, как она измучилась в этой проклятой России!

Ганин, который хмуро разглядывал шахматную задачу, набросанную на одном из листов, валявшихся на постели, вдруг поднял голову:

— Как вы сказали?

— Приезжает, — бойко щелкнул ногтем Алферов.

— Нет, не то… Как вы про Россию сказали?

— Проклятая. А что, разве не правда?

— Нет, так, — занятный эпитет.

— Эх, Лев Глебович, — остановился вдруг посреди комнаты Алферов. — Полно вам большевика ломать. Вам это кажется очень интересным, но поверьте, это грешно с вашей стороны. Пора нам всем открыто заявить, что России капут, что «богоносец» оказался, как впрочем можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стало быть, навсегда погибла.

Ганин рассмеялся.

— Конечно, конечно, Алексей Иванович.

Алферов помазал ладонью сверху вниз по блестевшему лицу и улыбнулся вдруг широкой мечтательной улыбкой:

— Отчего вы не женаты, дорогой мой. А?

— Не пришлось, — отвечал Ганин. — Это весело?

— Роскошно. Моя жена — прелесть. Брюнетка, знаете, глаза этакие живые… Совсем молоденькая. Мы женились в Полтаве, в девятнадцатом году, а в двадцатом мне пришлось бежать: вот здесь у меня в столе карточки, — покажу вам.

Он снизу, согнутой пятерней, вытолкнул широкий ящик.

— Чем вы тогда были, Алексей Иванович? — без любопытства спросил Ганин.

Алферов покачал головой.

— Не помню. Разве можно помнить, чем был в прошлой жизни, — быть может устрицей иди, скажем, птицей, а может быть учителем математики. Прежняя жизнь в России так и кажется мне чем-то довременным, метафизическим, или как это… другое слово, — да, метампсихозой…

Ганин довольно равнодушно рассматривал снимок в открытом ящике. Это было лицо растрепанной молодой женщины с веселым, очень зубастым ртом. Алферов наклонился через его

плечо.

— Нет, это не жена, это моя сестрица. — От тифа умерла, в Киеве. Хорошая была, хохотунья, мастерица в пятнашки играть…

Он придвинул другой снимок.

— А вот это Машенька, жена моя. Плохая фотография, но все-таки похоже. А вот другая, в саду нашем снято.

Машенька — та, что сидит в светлом платье. Четыре года не видел ее. Но не думаю, чтобы особенно изменилась. Прямо не знаю, как доживу до субботы… Стойте… Куда вы, Лев Глебович? Посидите еще!..

Ганин, глубоко засунув руки в карманы штанов, шел к двери.

— Лев Глебович! Что с вами? Обидел я вас чем-нибудь?

Дверь захлопнулась. Алферов остался стоять один посреди комнаты.

— Все-таки… какой невежа, — пробормотал он. — Что за муха его укусила?

# III

В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал острием сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики, — золотые, пробковые и просто бумажные, — а также слоистые окурки сигар. Изредка, вскрикнув оленьим голосом, промахивал автомобиль, или случалось то, что ни один городской пешеход не может заметить, падала, быстрее мысли и беззвучнее слезы, звезда. Ярче, веселее звезд были огненные буквы, которые высыпали одна за другой над черной крышей, семенили гуськом и разом пропадали во тьме.

«Неужели… это… возможно…» — огненным осторожным шепотом проступали буквы, и ночь одним бархатным ударом смахивала их. «Неужели… это…» — опять начинали они, крадясь по небу.

И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались и наконец, вместо того чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых пять минут, как и было условлено между бюро элек-

трических реклам и фабрикантом.

Впрочем, черт его знает, что на самом деле играло там, в темноте, над домами, световая ли реклама или человеческая мысль, знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ.

А по улицам, ставшим широкими, как черные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается, и русский человек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макинтошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, — в этот поздний час, по этим широким улицам, расхаживали миры друг другу неведомые, — не гуляка, не женщина, не просто прохожий, — а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара рядом с огромным барабаном уличной уборной, — пять сонных, теплых, седых миров в кучерских ливреях, и пять других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется из мешка.

Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно-глубоким, когда кажется так страшно жить и еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу,

сквозь слезы глядя на огни и ловя в них дивное ослепительное воспоминанье счастья, — женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвенья, — вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу — голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.

# IV

Во вторник, поздно проснувшись, он почувствовал некоторую ломоту в ногах и облокотившись на подушку, раза два с тревожным, изумленным блаженством вздохнул, вспомнив, что вчера случилось.

Утро было белое, нежное, дымное. Деловитым гулом дрожали стекла.

Он решительным махом соскочил с постели и принялся бриться. Сегодня он находил в этом особое удовольствие. Кто бреется, тот каждое утро молодеет на день. Ганину сегодня казалось, что он помолодел ровно на девять лет.

Щетина на вытянутой коже, размягченная хлопьями пены, равномерно похрустывала и сходила под стальным плужком бритвы. Бреясь, Ганин поводил бровями, а потом, когда обливался из кувшина холодной водой, радостно улыбался. Он пригладил на темени влажные темные волосы, быстро оделся и вышел на улицу.

В пансионе никого из жильцов не оставалось, кроме танцоров, которые обыкновенно вставали только к обеду: Алферов отправился к знакомому,

с которым затевал конторское дело, Подтягин поехал в полицейский участок добиваться выездной визы, Клара, уже опоздавшая на службу, ждала трамвая на углу, прижав к груди бумажный мешок с апельсинами.

А Ганин, без волненья, поднялся на второй этаж в знакомом ему доме, дернул кольцо звонка. Отперев дверь, но не сняв внутренней цепочки, высунулась горничная и сказала, что госпожа Рубанская еще спит.

— Все равно, мне нужно ее видеть, — спокойно сказал Ганин и, просунув в скважину руку, сам снял цепочку.

Горничная, коренастая бледная девушка, с негодованием что-то забормотала, но Ганин все так же решительно, отстранив ее локтем, прошел в полусумрак коридора и стукнул в дверь.

— Кто там? — раздался хрипловатый утренний голос Людмилы.

— Я, отопри.

Она простукала босыми пятками к двери, повернула ключ и, раньше чем посмотреть на Ганина, побежала обратно к постели, прыгнула под одеяло. По кончику уха видно было, что она в подушку улыбается, ждет, чтобы Ганин к ней подошел.

Но он остановился посреди комнаты и так простоял довольно долго, бренча мелкими монетами в карманах макинтоша.

Людмила вдруг перевернулась на спину и смеясь распахнула голые худенькие руки. Утро к ней не шло: лицо было бледное, опухшее, и желтые волосы стояли дыбом.

— Ну же, — протянула она и зажмурилась. Ганин перестал бренчать.

— Вот что, Людмила, — сказал он тихо.

Она привстала, широко открыв глаза.

— Что-нибудь случилось?

Ганин пристально посмотрел на нее и ответил:

— Да. Я, оказывается, люблю другую женщину. Я пришел с тобой проститься.

Она заморгала спутанными своими ресницами, прикусила губу.

— Это, собственно, все, — сказал Ганин. — Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. Мы сейчас простимся. Я полагаю, что так будет лучше.

Людмила, закрыв лицо, опять пала ничком в подушку. Лазурное стеганое одеяло стало косо сползать с ее ног на белый мохнатый коврик. Ганин поднял, поправил его. Потом прошелся раза два по комнате.

— Горничная не хотела меня впускать, — ска-

зал он.

Людмила, уткнувшись в подушку, лежала как мертвая.

— Вообще говоря, — сказал Ганин, — она какая-то неприветливая.

— Пора перестать топить. Весна, — сказал он немного погодя. Прошел от двери к белому трюмо, потом надел шляпу.

Людмила все не шевелилась. Он еще постоял, поглядел на нее молча и, издав горлом легкий звук, как будто хотел откашляться, вышел из комнаты.

Стараясь ступать тихо, он быстро прошел по длинному коридору, ошибся дверью, попал с размаху в ванную комнату, откуда хлынула волосатая рука и львиный рык, круто повернул и, столкнувшись опять с коренастой горничной, которая терла тряпкой бронзовый бюст в прихожей, стал спускаться в последний раз по отлогой каменной лестнице. На площадке громадная рама окна, выходившего на задний двор, была отпахнута, и во дворе бродячий баритон ревел по-немецки «Стеньку Разина».

И послушав по-весеннему дрожавший голос и взглянув на роспись открытого стекла — куст кубических роз и павлиний веер, — Ганин почув-

ствовал, что свободен.

Он медленно шел по улице, куря на ходу. День был холодноватый, молочный; белые растрепанные облака поднимались навстречу ему в голубом пролете между домов. Он всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака, но теперь он вспомнил бы ее и без облаков; с минувшей ночи он только и думал о ней.

То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души, переставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое.

Он сел на скамейку в просторном сквере, и сразу трепетный и нежный спутник, который его сопровождал, разлегся у его ног сероватой весенней тенью, заговорил.

И теперь, после исчезновенья Людмилы, он свободен был слушать его…

Девять лет тому назад… Лето, усадьба, тиф… Удивительно приятно выздоравливать после тифа. Лежишь, словно на волне воздуха; еще, правда, побаливает селезенка, и выписанная из Петербурга сиделка трет тебе язык по утрам — вязкий после сна — ватой, пропитанной портвейном. Сиделка очень низенького роста, с мягкой грудью, с проворными короткими руками, и идет от нее сыроватый запах, стародевичья

прохлада. Она любит прибаутки, японские словечки, оставшиеся у нее от войны четвертого года. Лицо с кулачок, бабье, щербатое, с острым носиком, и ни один волосок не торчит из-под косынки.

Лежишь, словно на воздухе. Постель слева отгорожена от двери камышовой ширмой, сплошь желтой, с плавными сгибами. Направо, совсем близко, в углу — киот: смуглые образа за стеклом, восковые цветы, коралловый крестик. Два окна, — одно прямо напротив, но далеко: постель будто отталкивается изголовьем от стены и метит в него медными набалдашниками изножья, в каждом из которых пузырек солнца, метит и вот тронется, поплывет через всю комнату в окно, в глубокое июльское небо, по которому наискось поднимаются рыхлые, сияющие облака. Второе окно, в правой стене, выходит на зеленоватую косую крышу: спальня во втором этаже, а это — крыша одноэтажного крыла, где людская и кухня. Окна запираются на ночь белыми створчатыми ставнями.

За ширмой — дверь, ведущая на лестницу, а подальше, у той же стены, блестящая белая печка и старинный умывальник, с баком, с клювастым краном: нажмешь ногой на медную педаль, и

из крана прыщет тонкий фонтанчик. Слева от переднего окна — красного дерева комод с очень тугими ящиками, а справа — оттоманка.

Обои — белые, в голубоватых розах, В полубреду, бывало, из этих роз лепишь профиль за профилем или странствуешь глазами вверх и вниз, стараясь не задеть по пути ни одного цветка, ни одного листика, находишь лазейки в узоре, проскакиваешь, возвращаешься вспять, попав в тупик, и сызнова начинаешь бродить по светлому лабиринту. Направо от постели, между киотом и боковым окном, висят две картины: черепаховая кошка, лакающая с блюдца молоко, и скворец, сделанный выпукло из собственных перьев на нарисованной скворешнице. Рядом, у оконного косяка, приделана керосиновая лампа, склонная выпускать черный язык копоти. Есть еще картины: литография — неаполитанец с открытой грудью — над комодом, а над рукомойником — нарисованная карандашом голова лошади, что, раздув ноздри, плывет по воде.

День-деньской кровать скользит в жаркое ветреное небо и, когда привстаешь, то видишь верхушки лип, круто прохваченные желтым солнцем, телефонные проволоки, на которые садятся стрижи, и часть деревянного навеса над

мягкой красной дорогой перед парадным крыльцом. Оттуда доносятся изумительные звуки: щебетанье, далекий лай, скрип водокачки.

Лежишь, плывешь и думаешь о том, что скоро встанешь; и в солнечной луже играют мухи, и цветной моток шелка, как живой, спрыгивает с колен матери, сидящей подле, мягко катится по янтарному паркету…

В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который, спустя месяц, он встретил наяву. В этом сотворении участвовало все, — и мягкие литографии на стенах, и щебет за окном, и коричневый лик Христа в киоте, и даже фонтанчик умывальника. Зарождавшийся образ стягивал, вбирал всю солнечную прелесть этой комнаты и, конечно, без нее он никогда бы не вырос. В конце концов это было просто юношеское предчувствие, сладкие туманы, но Ганину теперь казалось, что никогда такого рода предчувствие не оправдывалось так совершенно. И целый день он переходил из садика в садик, из кафе в кафе, и его воспоминанье непрерывно летело вперед, как апрельские облака по нежному берлинскому небу. Люди, сидевшие в кафе, полагали, что у этого человека, так пристально глядящего перед

собой, должно быть какое-нибудь глубокое горе, а на улице он в рассеяньи толкал встречных, и раз быстрый автомобиль затормозил и выругался, едва его не задев.

Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую он еще не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен. Но ее образ, ее присутствие, тень ее воспоминанья требовали того, чтобы наконец он и ее бы воскресил, — и он нарочно отодвигал ее образ, так как желал к нему подойти постепенно, шаг за шагом, точно так же как тогда, девять лет тому назад. Боясь спутаться, затеряться в светлом лабиринте памяти, он прежний путь свой воссоздавал осторожно, бережно, возвращаясь иногда к забытой мелочи, но не забегая вперед. Блуждая в этот весенний вторник по Берлину, он и вправду выздоравливал, ощущал первое вставань с пастели, слабость в ногах, смотрелся во все зеркала. Белье и одежды казались необыкновенно чистыми, просторными и немного чужими. Он медленно шел по широкой аллее, что вела от площадки дома в дебри парка. Там и сям вздувались на лиловатой от лиственной тени земле черные червистые холмики, — работа кротов. Он надел белые пан-

талоны, сиреневые носки. Он мечтал встретить кого-нибудь в парке, кого — он еще не знал.

Дойдя до конца аллеи, где сияла в темной зелени хвой белая скамья, он повернул обратно, и далеко впереди в пролете между лип виден был оранжевый песок садовой площадки и блестевшие стекла веранды.

Сиделка уехала обратно в Петербург, — долго высовывалась из коляски, махала коротенькой рукой, и ветер трепал косынку. Дни пошли радостные, бодрые. В усадьбе была прохлада, плащи солнца на паркете. И через две недели он уже до одури катался на велосипеде, лупил по вечерам в городки с сыном скотницы. А еще через неделю случилось то, чего он так ждал. «И куда все это делось, — вздохнул Ганин. — Где теперь это счастье и солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и скакали, мой велосипед с низким рулем и большой передачей?.. По какому-то там закону ничто не теряется, материю истребить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час щепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберешь их опять, — никогда. Я читал о „вечном возвращении“… А что если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот… чего-то никак не осмыслю… Да:

неужели все это умрет со мной? Я сейчас один в чужом городе. Пьян. От коньяка и пива трещит башка. Ноги вдосталь нашатались. И вот сейчас может лопнуть сердце, — и с ним лопнет мой мир… Никак не осмыслю…»

Он оказался опять в том же сквере, но теперь было совсем холодно, небо к вечеру подернулось обморочной бледнотой.

«Осталось четыре дня: среда, четверг, пятница, суббота. А я сейчас могу умереть…»

«Подтянуться! — вдруг пробормотал он, сдвинув темные брови. — Довольно. Пора домой».

На площадке лестницы он встретился с Алферовым, который, слегка сгорбившись в своем широченном пальто и старательно выпучив губы, совал ключ в замочную скважину лифта.

— Иду газету покупать, Лев Глебович. Хотите, вместе пройдемся?

— Благодарю, — сказал Ганин и прошел к себе.

Но взявшись за ручку двери, он остановился. Им овладел мгновенный соблазн. Он услышал, как Алферов вошел в лифт, как машина с трудным глухим грохотом опустилась до низу и там лязгнула.

«Унесло… — подумал он, покусывая губы. — А черт… рискну». Судьба так захотела, чтобы минут

пять спустя Клара постучалась к Алферову, чтобы спросить, нет ли у него почтовой марки. Сквозь верхнее матовое стекло двери желтел свет, и потому она решила, что Алферов дома.

— Алексей Иванович, — сказала Клара, одновременно стуча и приоткрывая дверь, — нет ли у вас…

Она в изумленьи запнулась. У письменного стола стоял Ганин и поспешно задвигал ящик. Он оглянулся, блеснув зубами, толкнул ящик бедром и выпрямился.

— Ах, Боже мой, — тихо сказала Клара и попятилась из комнаты.

Ганин быстро шагнул к ней, на ходу выключив свет и захлопнув дверь. Клара прислонилась к стене в полутемном коридоре и с ужасом глядела на него, прижав пухлые руки к вискам.

— Боже мой… — повторила она так же тихо. — Как вы могли…

С медленным грохотом, словно отдуваясь, поплыл вверх лифт.

— Возвращается… — таинственно шепнул Ганин.

— О, я не выдам вас, — горько воскликнула Клара, не сводя с него блестящих, влажных глаз, — но как вы могли? Ведь он не богаче вас… Нет, это

кошмар какой-то.

— Пойдемте к вам, — сказал с улыбкой Ганин. — Я вам, пожалуй, объясню…

Она медленно отделилась от стены и, нагнув голову, пошла в свою комнату. Там было тепло, пахло хорошими духами, на стене была копия с картины Беклина «Остров мертвых», на столике стояла фотография — Людмилино лицо, очень подправленное.

— Мы с нею поссорились, — кивнул Ганин в сторону снимка, — Не зовите меня, если она будет у вас. Все кончено.

Клара села с ногами на кушетку и, кутаясь в черный платок, исподлобья глядела на Ганина.

— Все это глупости, Клара, — сказал он, садясь рядом с ней и опираясь на выпрямленную руку. — Неужели вы думаете, что я действительно крал деньги? Но, конечно, мне будет неприятно, если Алферов узнает, что я залезал к нему в стол.

— Да что же вы делали? Что могло быть другого? — зашептала Клара. — Я от вас не ожидала этого, Лев Глебович.

— Какая вы право смешная, — сказал Ганин и заметил, что ее большие, ласковые, слегка навыкате глаза чересчур уж блестят, что слишком уж взволнованно поднимаются и спадают ее плечи

под черным платком.

— Полноте, — улыбнулся он. — Ну хорошо, предположим, я — вор, взломщик. Но почему это вас так тревожит?

— Уходите, пожалуйста, — тихо сказала Клара и отвернула голову. Он рассмеялся, пожал плечом…

Когда же дверь за ним закрылась, Клара заплакала и плакала долго, тяжелыми блестящими слезами, которые равномерно возникали на ее ресницах и сползали продолговатыми каплями по ее запылавшим от рыданий щекам.

— Бедный мой, — бормотала она, — до чего жизнь довела его. И что я могу ему сказать…

Раздался легкий стук в стену из комнаты танцоров. Клара сильно высморкалась, прислушалась. Стук повторился опять, по-женски бархатный: это, верно, стучал Колин. Потом прокатился смех, кто-то воскликнул: «Алек, о Алек, перестань…», — и два голоса глухо и нежно затараторили.

Клара подумала о том, что завтра, как всегда, нужно ехать на службу, до шести стучать по кнопкам, следя за лиловой строчкой, которая с зернистым потрескиваньем высыпает на лист, или же, если дела нет, читать, подперев ее об черный ремингтон, одолженную, бесстыдно

растрепанную книгу. Она сварила себе чай, вяло поужинала, потом долго раздевалась, вздыхая и лениво двигаясь. Лежа в постели, она слышала, что рядом, в номере у Подтягина, голоса, кто-то входил, выходил, неожиданно голос Ганина что-то громко сказал, Подтягин ответил тихо, сокрушенно. Она вспомнила, что старик сегодня опять ездил насчет паспорта, что у него тяжелая болезнь сердца, что жизнь проходит: в пятницу ей минет двадцать шесть лет. А голоса все звучали, — и Кларе казалось, что она живет в стеклянном доме, колеблющемся и плывущем куда-то. Шум поездов, особенно ясно слышный по ту сторону коридора, добирался и сюда, и кровать как будто поднималась и покачивалась. Перед ней мелькнула спина Ганина, который склонялся над столом и оглядывался через плечо, скаля яркие зубы. А потом она уснула и во сне видела какую-то чушь: будто села в трамвай, а рядом старушка, необыкновенно похожая на ее тетку, жившую в Лодзи, быстро говорит что-то по-немецки, и оказывается понемногу, что это вовсе не ее тетка, а та радушная торговка, у которой Клара по дороге на службу покупает апельсины.

# V

В этот вечер к Антону Сергеевичу зашел гость. Это был старый господин с желтоватыми усами, подстриженными на английский манер, солидный, очень опрятно одетый, в сюртуке и полосатых штанах… Подтягин его потчевал бульоном магги, когда вошел Ганин. Воздух был синеват от папиросных паров.

— Господин Ганин, господин Куницын, — и Антон Сергеевич, сияя стеклами пенсне и посапывая, вдавил Ганина своей мягкой рукой в кресло.

— Это, Лев Глебович, мой старый однокашник, когда-то шпаргалки мне писал.

Куницын осклабился.

— Было дело, — проговорил он низким, круглым голосом. — А позвольте вас спросить, дорогой Антон Сергеевич, который теперь час?

— Да ну вас, час детский, можно еще посидеть.

Куницын встал, подтягивал жилет.

— Супруга ждет, не могу.

— Ну что же, не смею удерживать, — развел руками Антон Сергеевич и бочком, через пенсне поглядел на гостя, — а жене вашей кланяйтесь.

Не имею чести знать, но поклон передайте.

— Благодарю, — сказал Куницын. — Очень приятно. Всего доброго. Пальто я, кажется, в передней оставил.

— Я вас еще провожу, — сказал Подтягин. — Простите, пожалуйста, Лев Глебович, сейчас вернусь.

Оставшись один, Ганин поудобнее уселся в старом зеленом кресле и в раздумье улыбнулся. Он зашел к старому поэту, оттого что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волненье. Ему хотелось рассказать ему о многом, — о закатах над русским шоссе, о березовых рощах. В переплетенных старых журналах «Всемирная Иллюстрация» да «Живописное Обозрение» ведь бывали под виньетками стихи этого самого Подтягина.

Антон Сергеевич вернулся, хмуро покачивая головой.

— Обидел меня, — сказал он, садясь к столу и барабаня пальцами. — Ах, как обидел…

— В чем дело? — улыбнулся Ганин.

Антон Сергеевич снял пенсне, вытер его краем скатерти.

— Презирает он меня, вот в чем дело. Знаете, что он мне давеча сказал? Посмотрел с этакой

холодной усмешечкой, — вы, говорит, стихи свои пописывали, а я не читал. А если бы читал, терял бы то время, что отдавал работе. Вот что он мне сказал, Лев Глебович; я вас спрашиваю, умно ли это?

— А кто он такой? — спросил Ганин.

— Да черт его знает. Деньги делает. Эх-ма. Он человек, видите ли…

— Что же тут обидного, Антон Сергеич? У него одно, а у вас другое. Ведь вы его, небось, тоже презираете.

— Ах, Лев Глебович, — заволновался Подтягин, — да разве я не прав, коли презираю его? Не это ведь ужасно, а ужасно то, что такой человек смеет мне деньги предложить…

Он открыл кулак, выбросил на стол смятую бумажку.

— …ужасно то, что я принял. Извольте любоваться, — двадцать марковей, чтобы их черт подрал.

Старик совсем растрепетался, жевал губами, седая щетка под нижней губой прыгала, толстые пальцы барабанили по столу. Потом он с болезненным присвистом вздохнул и покачал головой.

— Петька Куницын… Как же, все помню… Хо-

рошо учился, подлец. И аккуратный такой был, при часах. Пальцем показывал во время урока, сколько минут до звонка. Первую гимназию с медалью кончил.

— Странно должно быть вам это вспоминать, — задумчиво сказал Ганин. — Странно вообще вспоминать, ну хотя бы то, что несколько часов назад случилось, ежедневную — и все-таки не ежедневную — мелочь.

Подтягин внимательно и мягко посмотрел на него.

— Что это с вами, Лев Глебович? Лицо у вас как-то светлее. Опять, что ли, влюблены? А насчет странностей воспоминанья… Фу ты, как хорошо улыбнулся…

— Я недаром к вам зашел, Антон Сергеич…

— А я вас Куницыным угостил. Берите пример с него. Вы как учились?

— Так себе, — опять улыбнулся Ганин. — Балашовское училище в Петербурге, знаете? — продолжал он, слегка подлаживаясь под тон Подтягина, как это часто бывает, когда говоришь со стариком. — Ну, вот. Помню тамошний двор. Мы в футбол лупили. Под аркой были сложены дрова. Мяч, бывало, собьет полено.

— Мы больше в лапту играли да в казаки-раз-

бойники, — сказал Подтягин. — Вот жизнь и прошла, — добавил он неожиданно.

— А я, знаете, Антон Сергеевич, сегодня вспоминал старые журналы, в которых были ваши стихи. И березовые рощи.

— Неужели помните, — ласково и насмешливо повернулся к нему старик. — Дура я, дура, — я ведь из-за этих берез всю свою жизнь проглядел, всю Россию. Теперь, слава Богу, стихов не пишу. Баста. Совестно даже в бланки вписывать: «поэт». Я, кстати, сегодня опять ни черта не понял. Чиновник даже обиделся. Завтра снова поеду.

Ганин посмотрел себе на ноги и не спеша заговорил:

— В школе, в последних классах, мои товарищи думали, что у меня есть любовница, да еще какая: светская дама. Уважали меня за это. Я ничего не возражал, так как сам распустил этот слух.

— Так, так, — закивал Подтягин. — В вас есть что-то хитрое, Левушка… Это хорошо…

— А на самом деле я был до смешного чист. И совершенно не страдал от этой чистоты. Гордился ею, как особенной тайной, а выходило, что я очень опытен. Правда, я вовсе не был стыдлив или застенчив. Просто очень удобно жил в самом себе и ждал. А товарищи мои, те, что сквернослo-

вили, задыхались при слове «женщина», были все такие прыщеватые, грязные, с мокрыми ладонями. Вот за эти прыщи я их презирал. И лгали они ужасно отвратительно о своих любовных делах.

— Не могу скрыть от вас, — своим матовым голосом сказал Подтягин, — что я начал с горничной. А какая была прелесть, тихая, сероглазая. Глашей звали. Вот какие дела.

— Нет, я ждал, — тихо сказал Ганин. — От тринадцати до шестнадцати лет, три, значит, года. Когда мне было тринадцать лет, мы играли раз в прятки, и я оказался со сверстником вместе в платяном шкапу. Он в темноте и рассказал мне, что есть на свете чудесные женщины, которые позволяют себя раздевать за деньги. Я не расслышал правильно, как он их назвал, и у меня вышло: принститутка. Смесь институтки и принцессы. Их образ мне казался поэтому особенно очаровательным, таким таинственным. Но, конечно, я вскоре понял, что ошибся, так как те женщины, которые вразвалку ходили по Невскому и называли нас, гимназистов, «карандашами» вовсе меня не прельщали. И вот, после трех лет такой гордости и чистоты, я дождался. Это было летом, у нас в деревне.

— Так, так, — сказал Подтягин. — Все это я по-

нимаю. Только вот скучно немного. Шестнадцать лет, роща, любовь…

Ганин посмотрел на него с любопытством.

— Да что же может быть лучше, Антон Сергеевич?

— Эх, не знаю, не спрашивайте меня, голубчик. Я сам поэзией охолостил жизнь, а теперь поздно начать жить сызнова. Только думается мне, что в конце концов лучше быть сангвиником, человеком дела, а если кутить, так, чтобы зеркала лопались.

— И это было, — усмехнулся Ганин.

Подтягин на минуту задумался.

— Вот вы о русской деревне говорили, Лев Глебович. Вы-то, пожалуй, увидите ее опять. А мне тут костьми лечь. Или, если не здесь, то в Париже. Совсем я сегодня раскис что-то. Простите.

Оба замолкли. Прошел поезд. Далеко, далеко крикнул безутешно и вольно паровоз. Ночь в незавешенном стекле холодно синела, отражая абажур лампы и край освещенного стола. Подтягин сидел сутуло, опустив седую голову и вертя в руках кожаный футляр портсигара. Никто бы не мог сказать, о чем он размышлял. Были ли то думы о бледно прошедшей жизни, или же старость, болезнь, нищета, с темной ясностью

ночного отраженья, являлись перед ним, — были ли это думы о паспорте, о Париже, или просто — скучная мысль о том, что вот узор на коврике как раз вмещает носок сапога, что хорошо бы выпить холодного пива, что гость засиделся, не уходит, — Бог весть; но Ганин, глядя на его большую поникшую голову, на старческий пушок в ушах, на плечи, округленные писательским трудом, почувствовал внезапно такую грусть, что уже не хотелось рассказывать ни о русском лете, ни о тропинках парка, ни тем более о том удивительном, что случилось вчера.

— Ну вот, я пойду. Спите спокойно, Антон Сергеевич. — Спокойной ночи, Левушка, — вздохнул Подтягин. — Хорошо мы потолковали с вами. Вы вот не презираете меня за то, что я взял у Куницына денег.

И только в последнюю минуту, уже на пороге комнаты, Ганин остановился, сказал:

— Знаете что, Антон Сергеевич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив. Подтягин приветливо кивнул.

— Так, так. Кланяйтесь. Не имею чести знать, но все равно кланяйтесь.

# VI

Он, странно сказать, не помнил, когда именно увидел ее в первый раз. Быть может, на дачном концерте, устроенном в большой риге на лугу. А может быть, и до того он мельком ее видал. Он как будто бы уже знал ее смех, нежную смуглоту и большой бант, когда студент-санитар при местном солдатском лазарете рассказывал ему о барышне «милой и замечательной» — так выразился студент, — но этот разговор происходил еще до концерта. Ганин теперь напрасно напрягал память: первую, самую первую встречу он представить себе не мог. Дело в том, что он ожидал ее с такою жадностью, так много думал о ней в те блаженные дни после тифа, что сотворил ее единственный образ задолго до того, как действительно ее увидел, потому теперь, через много лет, ему и казалось, что та встреча, которая мерещилась ему, и та встреча, которая наяву произошла, сливаются, переходят одна в другую незаметно, оттого что она, живая, была только плавным продленьем образа, предвещавшего ее.

И в июльский вечер Ганин нажал на желез-

ную, певучую дверь парадного крыльца и вышел в синеву сумерек. В сумерках особенно легко шел велосипед, шина с шелестом нащупывала каждый подъем и выгиб в утоптанной земле по краю дороги. И когда он скользнул мимо темной конюшни, оттуда пахнуло теплом, фырканьем, нежным стуком переставленного копыта. И, дальше, дорогу охватили с обеих сторон бесшумные в этот час березы, и в стороне, посреди луга, был мягкий свет, словно на гумне тлел пожар, и темными полями к отдельно стоявшей риге шли вразброд, не спеша, по-праздничному гудевшие люди.

Внутри был сколочен помост, расставлены скамейки, свет обливал головы и плечи, играл в глазах, пахло леденцами и керосином. Народу набралось много: в глубине разместились мужики и бабы, посередке дачники и дачницы, впереди же на белых парковых скамейках — человек двадцать солдат из сельского лазарета, нахохленных, тихих, с проплешинами в серой синеве стриженых, очень круглых голов. А в стенах, украшенных еловой хвоей, там и сям были щели, сквозь которые глядели звездная ночь да черные тени мальчишек, взгромоздившихся по той стороне на высоко наваленные бревна.

Из Петербурга приехавший бас, тощий, с лошадиным лицом, извергался глухим громом; школьный хор, послушный певучему щелчку камертона, подтягивал ему.

И среди желтого, жаркого блеска, среди звуков, становившихся зримыми в виде складок пунцовых и серебристых платков, мигавших ресниц, черных теней на верхних балках, перемещавшихся, когда продувал ночной ветерок, среди этого мерцанья и лубочной музыки, среди всех плеч и голов, в громадной, битком набитой риге, — для Ганина было только одно: он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте, чуть зазубрившемся на краях, он гладил глазами темный блеск волос, по-девически ровный на темени. Когда она поворачивала в сторону лицо, обращаясь быстрым, смеющимся взглядом к соседке, он видел и темный румянец ее щеки, уголок татарского горящего глаза, тонкий изгиб ноздри, которая то щурилась, то расширялась от смеха.

А потом, когда все кончилось, и огромный заводской автомобиль, таинственно озарив траву и затем взмахом света ослепив спящую березу и мостик над канавой, увез столичного баса, и в синюю темноту по клеверной росе поплыли,

празднично и зыбко белеясь, дачницы, и кто-то в темноте закуривал, держа в горстях у освещенного лица вспыхнувший огонек, — Ганин, взволнованный и одинокий, пошел домой, катя за седло чуть стрекотавший спицами велосипед.

Окно большой старомодной уборной в крыле дома, между чуланом и комнатушкой экономки, выходило на заброшенную часть садовой площадки, где чернела в тени железного навеса чета колес над колодцем, и шли по земле деревянные желоба водостока между обнаженными вьющимися корнями трех огромных, разросшихся вширь тополей. Окно было расписное: цветной копьеносец казал на стекле свою квадратную бороду и могучие икры, — и странно светился он при тусклом блеске керосиновой лампы с жестяным рефлектором, висевшей подле тяжелого бархатного шнура: дернешь, и в таинственных недрах дубового кресла закипит влажный гул, глухие глотки. Ганин отпахнул пошире раму цветного окна, уселся с ногами на подоконник, — и бархатный шнур тихо качался, — и звездное небо между черных тополей было такое, что хотелось поглубже вздохнуть. И эту минуту, когда он сидел на подоконнике мрачной дубовой уборной и думал о том, что, верно, никогда, никогда он

не узнает ближе барышни с черным бантом на нежном затылке, и тщетно ждал, чтобы в тополях защелкал фетовский соловей, — эту минуту Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни.

Он не помнил, когда он ее увидел опять, — на следующий день или через неделю. На закате, до вечернего чая, он взмахивал на пружинистый кожаный клин, упирался руками в рулевые рога и катил прямо в зарю. Он избирал всегда один и тот же путь, круговой, мимо двух деревень, разделенных сосновым лесом, и потом по шоссе, между полей, и домой через большое село Воскресенск, что лежит на реке Оредеж, воспетой Рылеевым. Он знал самый путь, то узкий, утрамбованный, бегущий вдоль опасной канавы, то мощенный булыжниками, по которым прыгало переднее колесо, то изрытый коварными колеями, то гладкий, розоватый, твердый, — он знал этот путь на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело, и катил по нему без запинки, вдавливая в шелестящую пустоту упругие педали.

В сосновом перелеске, на шероховатых стволах, вечернее солнце лежало огненно-румяными полосками. Из дачных садиков доносился стук крокетных шаров; и в рот, в глаза попадали

мошки.

Иногда на шоссе у пирамидки щебня, над которым пустынно и нежно гудел телеграфный столб, облупившийся сизыми струпьями, он останавливался и, опираясь на велосипед, глядел через поля на одну из тех лесных опушек, что бывают только в России, далекую, зубчатую, черную, и над ней золотой запад был пересечен одним только лиловатым облаком, из-под которого огненным веером расходились лучи. И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит — вот это небо, и поля, и гудящий столб; казалось, что вот-вот сейчас он поймет, — но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томленье становилось нестерпимым.

Он никогда не знал, где встретит, где обгонит ее, на каком повороте дороги, в этом ли перелеске или в следующем. Она жила в Воскресенске, и в тот же час, как и он, выходила бродить в пустыне солнечного вечера. Он замечал ее издали, и сразу холодело в груди. Она шла быстро, засунув руки в карманы темно-синей, под цвет юбки, шевиотовой кофточки, надетой поверх белой блузки, и Ганин, как тихий ветер нагоняя ее, видел только складки синей материи, которые на спине

у нее слегка натягивались и переливались, да черный шелковый бант, распахнувший крылья. Пролетая мимо, он никогда не заглядывал ей в лицо, а притворялся углубленным в езду, хотя за минуту до того, представляя себе встречу, клялся, что улыбнется ей, поздоровается. Ему казалось в эти дни, что у нее должно быть какое-нибудь необыкновенное, звучное имя, а когда узнал от того же студента, что ее зовут Машенька, вовсе не удивился, словно знал наперед, — и по-новому, очаровательной значительностью, зазвучало для него это простенькое имя.

«Машенька, Машенька, — зашептал Ганин, — Машенька...» — и набрал побольше воздуха, и замер, слушая, как бьется сердце. Было около трех часов ночи, поезда не шли, и потому казалось, что дом остановился. На стуле, раскинув руки, как человек, оцепеневший среди молитвы, смутно белела в темноте сброшенная рубашка.

«Машенька», — опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше, — ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастье, — и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое. И вдруг за стеной раздалось нежно, тихонько, назойливо:

туу… ту… ту-ту… Алферов думал о субботе.

# VII

Утром на следующий день, в среду, рыжая ручища Эрики просунулась в номер второго апреля и уронила на пол длинный сиреневый конверт. На конверте Ганин равнодушно узнал косой, крупный, очень правильный почерк. Марка была наклеена вниз головой, и в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. Он надул щеки, выпустил воздух и сунул нераспечатанное письмо в карман. Спустя несколько минут он его опять вынул, повертел в руках и кинул на стол. Потом прошелся раза два по комнате.

Все двери пансиона были открыты. Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов, которые, пользуясь сквозняками, прокатывали по всем комнатам. Ганин, остававшийся по утрам дома, обычно сам выметал сор, стелил постель. Он теперь спохватился, что второй день не убирал комнаты, и вышел в коридор в поисках щетки и тряпки. Лидия Николаевна с ведром в

руке шуркнула мимо него, как мышь, и на ходу спросила: «Вам Эрика передала письмо?»

Ганин молча кивнул и взял половую щетку, лежавшую на дубовом бауле. В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине — день был на диво погожий — косой конус озаренной пыли проходил через угол письменного стола, и он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые сперва ему показывал Алферов, и которые он потом с таким волненьем рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил, и теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе.

В зеркале отраженье захлопнулось: это Лидия Николаевна, мышиными шажками просеменив по коридору, толкнула открытую дверь.

Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. На столе лежало сиреневое пятно. Он вспомнил по быстрому сочетанью мыслей, вызванных этим пятном и отраженьем стола в зеркале, те другие, очень старые письма, что хранились у него в черном бумажнике, лежащем рядом с крымским браунингом, на дне чемодана.

Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпахнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо, разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки по ветру, и бумажные снежинки полетели, сияя, в солнечную бездну. Один лоскуток порхнул на подоконник, Ганин прочел на нем несколько изуродованных строк:

нечно, сумею теб
юбовь. Я только про
обы ты был сча

Он щелчком скинул его с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля, весенним простором, и, облегченно двинув плечами, принялся убирать комнату.

Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи, как Алферов громко смеялся, как Подтягин что-то мягко бормотал. И еще спустя некоторое время, Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гонг.

Идя к обеду, он обогнал у двери столовой Клару, которая испуганно взглянула на него. И Ганин улыбнулся, да такой красивой и ласковой улыбкой, что Клара подумала: «Пускай он вор, — а все-таки такого второго нет». Ганин открыл дверь, она наклонила голову и прошла мимо него

в столовую. Остальные уже сидели по местам, и Лидия Николаевна, держа громадную ложку в крохотной увядшей руке, грустно разливала суп.

У Подтягина сегодня опять ничего не вышло. Старику действительно не везло. Французы разрешили приехать, а немцы почему-то не выпускали. Между тем у него оставалось как раз достаточно средств, чтобы выехать, а продлись эта канитель еще неделю, деньги уйдут на жизнь, и тогда до Парижа не доберешься. Кушая суп, он рассказывал, с каким-то грустным и медлительным юмором, как его гнали из одного отдела в другой, как он сам не мог объяснить, что ему нужно, и как наконец усталый, раздраженный чиновник накричал на него.

Ганин поднял глаза и сказал:

— Да поедем туда завтра вместе, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться.

Он, точно, хорошо говорил по-немецки.

— Ну, что же, спасибо, — ответил Подтягин и снова, как вчера, заметил необычную светлость его лица. — А то, знаете, прямо хоть плачь. Опять два часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. Спасибо, Левушка.

— Вот у жены моей тоже будут хлопоты, — за-

говорил Алферов. И с Ганиным случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо, горячо щекочет лоб, словно он напился уксуса. Идя к обеду, он не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящей его жизни, — о Машеньке. И с ужасом, со стыдом, он вспомнил, что сам, по неведенью своему, третьего дня за обедом смеялся с другими над женой Алферова. И сегодня опять кто-нибудь мог усмехнуться.

— Она, впрочем, у меня расторопная, — говорил тем временем Алферов. — В обиду себя не даст. Не даст себя в обиду моя женка.

Колин и Горноцветов переглянулись, хихикнули… Ганин, кусая губы и опустив глаза, катал хлебный шарик. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Алферова и, взглянув, подивился, как Машенька могла выйти за этого человека с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом. И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, который Машеньку трогал, знает ощущенье ее губ, ее словечки, смех, движенья и теперь ждет ее, эта мысль была ужасна, но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость при воспомина-

ньи о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое, неповторимое благоуханье.

После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки, автобус качался, грохотал, и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной.

— А наш-то, опять в кого-то влюблен, — кивнул в сторону двери Антон Сергеевич, попивая чай у Клары. — Не в вас ли?

Та отвернулась, полная грудь ее поднялась и опустилась, ей не верилось, что это могло быть так; она боялась этого, боялась того Ганина, который шарил в чужом столе, но все-таки ей был приятен вопрос Подтягина.

— Не в вас ли, Кларочка? — повторил он, дуя на чай и через пенсне искоса поглядывая на нее.

— Он вчера порвал с Людмилой, — вдруг сказала Клара, чувствуя что Подтягину можно проговориться.

— Я так и думал, — кивнул старик, со вкусом отхлебывая. — Недаром он такой озаренный. Ста-

рому прочь, новому добро пожаловать. Слыхали, что он мне сегодня предложил? Завтра — вместе со мной в полицию.

— Я буду у нее вечером, — задумчиво сказала Клара. — Бедняжка. У нее был загробный голос по телефону.

Подтягин вздохнул:

— Что же, дело молодое. Ваша подруга утешится. Все это благо. А знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать… — Бог с вами, Антон Сергеевич! Какие глупости. — Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. Сердце то во рту, то под кроватью…

— Бедный вы, — забеспокоилась Клара. — Ведь нужно доктора…

Подтягин улыбнулся.

— Я пошутил. Мне, напротив, куда легче эти дни. А припадок пустяк. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы очеса распахнете. Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы земской врач или какой-нибудь солидный архитектор. Вы, как, — любите Россию?

— Очень.

— То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви, России — крышка. Там ее никто не любит.

— Мне уже двадцать шесть лет, — сказала Клара, — я целое утро стучу на машинке и пять раз в неделю работаю до шести. Я очень устаю. Я совершенно одна в Берлине. Как вы думаете, Антон Сергеевич, это долго будет так продолжаться?

— Не знаю, голубушка, — вздохнул Подтягин. — Сказал бы, да не анаю. Вот я тоже работал, журнал тут затеял… А теперь сижу на бобах. Дай Бог только в Париж попасть. Там жить привольнее. Как вы думаете, попаду?

— Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно. Завтра все устроится.

— Привольнее и кажется дешевле, — сказал Подтягин, ложечкой доставая не растаявший кусочек сахара и думая о том, что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.

# VIII

День Ганина еще более опустел в житейском смысле после его разрыва с Людмилой, но зато теперь не было тоски бездействия. Воспоминанье так занимало его, что он не чувствовал времени. Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, — он же сам был в России, переживал воспоминанье свое, как действительность. Временем для него был ход его воспоминанья, которое развертывалось постепенно. И хотя роман его с Машенькой продолжался в те далекие годы не три дня, не неделю, а гораздо больше, он не чувствовал несоответствия между действительным временем и тем другим временем, в котором он жил, так как память его не учитывала каждого мгновенья, а перескакивала через пустые, непамятные места, озаряя только то, что было связано с Машенькой, и потому выходило так, что не было несоответствия между ходом прошлой жизни и ходом настоящей.

Казалось, что эта прошлая, доведенная до совершенства, жизнь проходит ровным узором через берлинские будни. Чтобы Ганин ни делал в

эти дни, та жизнь согревала его неотступно.

Это было не просто воспоминанье, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо «интенсивнее» — как пишут в газетах, — чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осторожностью.

Конец июля на севере России уже пахнет слегка осенью. Мелкий желтый лист, нет-нет, да и слетит с березы; в просторах скошенных полей уже пусто и светло по-осеннему. Вдоль опушки, где еще лоснится на ветру островок высокой травы, избежавшей косарей, на бледно-лиловых подушечках скабиоз спят отяжелевшие шмели. И как-то вечером, в парковой беседке…

Да. Эта беседка стояла на подгнивших сваях, над оврагом, и с обеих сторон к ней вели два покатых мостика, скользких от ольховых сережек да еловых игл.

В небольших ромбах белых оконниц были разноцветные стекла: глядишь, бывало, сквозь синее, — и мир кажется застывшим в лунном обмороке, — сквозь желтое, — и все весело чрезвычайно, — сквозь красное, — и небо розово, а листва, как бургундское вино. И некоторые стекла были разбиты, а торчавшие уголки соеди-

нены паутиной. Беседка была снутри беленая; на стенах, на откидном столике дачники, забиравшиеся незаконно в парк, оставляли карандашные надписи.

Так забралась и Машенька с двумя неприметными подругами. Он сперва обогнал ее на тропинке парка, бегущей вдоль реки, и проехал так близко, что подруги ее с визгом шарахнулись. Он обогнул парк, перерезал его, и потом вдали, сквозь листву, увидел, как они входят в беседку. Он прислонил велосипед к дереву и вошел за ними.

— В парке нельзя гулять посторонним, — сказал он тихо и хрипло, — на калитке есть даже вывеска.

Она ничего не ответила, играющими раскосыми глазами смотрела на него. Он спросил, указывая на одну из бледных надписей:

— Это вы сделали?

А написано было: «В этой беседке двадцатого июня Машенька, Лида и Нина пережидали грозу».

Они все три рассмеялись, и тогда он рассмеялся тоже, сел на столик, закачал ногами, заметил некстати, что черный шелковый носок порвался на щиколотке. И Машенька вдруг сказала, указав

на розовую дырочку:

— Смотрите, у вас — солнышко.

Они говорили о грозе, о дачниках и о том, что он болен был тифом, и о смешном студенте в солдатском лазарете, и о концерте в сарае.

У нее были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подернутое тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно теплый оттенок щекам; ноздри раздувались пока она говорила, посмеиваясь и высасывая сладость из травяного стебля; голос был подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно вздрагивала ямочка на открытой шее.

Потом, к вечеру, он провожал ее и ее подруг до села и, проходя по зеленой лесной дороге, заросшей плевелами, мимо хромой скамьи, очень серьезно рассказывал: «Макароны растут в Италии. Когда они еще маленькие, их зовут вермишелью. Это значит: Мишины червяки».

Он условился с ними, что завтра повезет их всех на лодке. Но она явилась без подруг. У шаткой пристани он развернул грохочущую цепь большой, тяжелой, красного дерева шлюпки, откинул брезент, ввинтил уключины, выволок весла из длинного ящика, вдел стержень руля в стальное кольцо.

Поодаль ровно шумели шлюзы водяной мельницы; вдоль белых складок спадающей воды рыжеватым золотом отливали подплывшие стволы сосен.

Машенька села у руля, он оттолкнулся багром и медленно стал грести вдоль самого берега парка, где на воде черными павлиньими глазами отражались густые ольхи, и порхало много темно-синих стрекоз. Потом он повернул на середину реки, виляя между парчевых островов тины, и Машенька, держа в одной руке оба конца мокрой рулевой веревки, другую руку опускала в воду, стараясь сорвать глянцевито-желтую головку кувшинки. Уключины скрипели при каждом нажиме весел; он то откидывался, то подавался вперед, и Машенька, сидевшая против него у руля, то отдалялась, то приближалась в своей синей кофточке, раскрытой на легкой, дышащей блузке.

На реке теперь отражался левый, красный, как терракота, берег, сверху поросший елью да черемухой, в красной крутизне вырезаны были имена и даты, а в одном месте кто-то, лет десять тому назад, высек громадное скуластое лицо. Правый берег был пологий, вереск лиловел между пятнистых берез. А потом, под мостом, хлынула

темная прохлада, сверху был тяжелый стук копыт и колес, и когда опять лодка выплыла, солнце ослепило, сверкнуло на концах весел, выхватило телегу с сеном, которая как раз проезжала по низкому мосту, и зеленый скат, и над ним белые колонны большой заколоченной усадьбы александровских времен. А потом спустился к самой реке с обеих сторон темный бор, и лодка с мягким шуршаньем въехала в камыши.

А дома ничего не знали, жизнь тянулась летняя, знакомая, милая, едва затронутая далекой войной, шедшей уже целый год. Старый, зеленовато-серый, деревянный дом, соединенный галереей с флигелем, весело и спокойно глядел цветными глазами своих двух стеклянных веранд на опушку парка и на оранжевый крендель садовых тропинок, огибавших черноземную пестроту куртин. В гостиной, где стояла белая мебель, и на скатерти стола, расшитой розами, лежали мрамористые тома старых журналов, желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме, и дагерротипы на стенах слушали, как оживало и звенело белое пианино. Вечером высокий синий буфетчик в нитяных перчатках выносил на веранду лампу под шелковым абажуром, и Ганин возвращался домой

пить чай, глотать холодные хлопья простокваши на этой светлой веранде с камышовым ковром на полу и черными лаврами вдоль каменных ступеней, ведущих в сад.

Он теперь ежедневно встречался с Машенькой, по той стороне реки, где стояла на зеленом холму пустая белая усадьба, и был другой парк, пошире и запущеннее, чем на мызе.

Перед этой чужой усадьбой, на высокой площадке над рекой, стояли под липами скамьи и железный круглый стол, с дыркой посередке для стока дождевой воды. Оттуда виден был далеко внизу мост через тинистую излучину и шоссе, поднимавшееся в Воскресенск. Эта площадка была их любимым местом.

И однажды, когда они встретились там в солнечный вечер после бурного ливня, на садовом столе оказалась хулиганская надпись. Деревенский озорник соединил их имена коротким, грубым глаголом, безграмотно начав его с буквы «и». Надпись сделана была химическим карандашом и слегка расплылась от дождя. Тут же, на мокром столе, прилипли сучки, листики, меловые червячки птичьих испражнений.

И так как стол принадлежал им, был святой, освященный их встречами, то спокойно, молча

они принялись стирать пучками травы сырой, лиловый росчерк. И когда весь стол смешно полиловел, и пальцы у Машеньки стали такими, как будто она только что собирала чернику, Ганин, отвернувшись и прищуренными глазами глядя внимательно на что-то желто-зеленое, текучее, жаркое, что было в обыкновенное время липовой листвой, объявил Машеньке, что давно любит ее.

Они так много целовались в эти первые дни их любви, что у Машеньки распухали губы, и на шее, такой всегда горячей под узлом косы, появлялись нежные подтеки. Она была удивительно веселая, скорее смешливая, чем насмешливая. Любила песенки, прибаутки всякие, словечки да стихи. Песенка у нее погостит два-три дня и потом забудется, прилетит новая. Так, во время самых первых свиданий она все повторяла, картаво и проникновенно: «Скрутили Ванечке руки и ноги, долго томили Ваню в остроге», — и смеялась воркотливым, грудным смехом: «Вот здорово-то!» Во рвах о ту пору зрела последняя, водянисто-сладкая малина; она необыкновенно любила ее, да и вообще постоянно что-нибудь сосала, — стебелек, листик, леденец. Ландриновские леденцы она носила просто в кармане, слипшимися кусками, к

которым прилипали шерстинки, сор. И духи у нее были недорогие, сладкие, назывались «Тагор». Этот запах, смешанный со свежестью осеннего парка, Ганин теперь старался опять уловить, но, как известно, память воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним.

И Ганин на мгновенье отстал от своего воспоминанья, подумал о том, как мог прожить столько лет без мысли о Машеньке, — и сразу опять нагнал ее: она бежала по шуршащей темной тропинке, черный бант мелькал, как огромная траурница, — и Машенька вдруг остановилась, схватилась за его плечо и, подняв ногу, принялась тереть запачкавшийся башмачок о чулок другой ноги, — повыше, под складками синей юбки.

Ганин уснул, лежа одетый на нераскрытой постели; воспоминанье его расплылось и перешло в сновиденье. Это сновиденье было необычайное, редчайшее, и он бы знал о чем оно, если бы на рассвете его не разбудил странный, словно громовой, раскат. Он привстал, прислушался. Гром оказался непонятным кряхтеньем и шорохом за дверью: кто-то тяжело скребся в нее; ручка, едва блестевшая в тумане рассветного воздуха, вдруг опустилась и вскочила опять, но дверь осталась

закрытой, хотя и не была заперта на ключ. Ганин, двигаясь беззвучно и с удовольствием предвкушая приключенье, сполз с постели и, на всякий случай сжав в кулак левую руку, правой сильно рванул дверь.

К нему на плечо, с размаху, как громадная, мягкая кукла, ничком пал человек. От неожиданности Ганин едва не ударил его, но тотчас же почувствовал, что человек валится на него только потому, что не в силах стоять. Он отодвинул его к стене и нащупал свет.

Перед ним, опираясь головой о стену и ловя воздух разинутым ртом, стоял старик Подтягин, босой, в длинной ночной рубашке, распахнутой на седой груди. Глаза его, без пенсне, обнаженные, слепые, не мигали, лицо было цвета сухой глины, большой живот горой ходил под натянутым полотном рубашки.

Ганин сразу понял, что старика опять одолел сердечный припадок. Он поддержал его, и Подтягин, тяжко передвигая сизые ноги, добрался до кресла, рухнул в него, откинул серое, вдруг вспотевшее лицо.

Ганин сунул в кувшин полотенце и прижал отяжелевшие мокрые складки к голой груди старика. Ему казалось, что в этом большом, на-

пряженном теле могут сейчас с резким хрустом лопнуть все кости.

И вдруг Подтягин передохнул, со свистом выпустил воздух. Это был не просто вздох, а чудеснейшее наслажденье, от которого сразу оживились его черты. Ганин, поощрительно улыбаясь, все прижимал к его телу мокрое полотенце, потирал ему грудь, бока.

— Лу… лучше, — выдохнул старик.

— Сидите совсем спокойно, — сказал Ганин. — Сейчас все пройдет.

Подтягин дышал и мычал, шевеля крупными кривыми пальцами босых ног. Ганин прикрыл его одеялом, дал ему выпить воды, отворил пошире окно.

— Не мог… дышать, — с трудом проговорил Подтягин. — Не мог к вам войти… так ослаб. Один… — не хотел умирать.

— Сидите смирно, Антон Сергеевич. Скоро день. Позовем доктора.

Подтягин медленно потер лоб рукой, задышал ровнее.

— Миновало, — сказал он. — На время миновало. У меня все капли вышли. Потому было так худо.

— И капель купим. Хотите перебраться ко мне

на постель?..

— Нет… Я посижу и пойду к себе. Миновало. А завтра утром…

— Отложим до пятницы, — сказал Ганин. — Виза не убежит.

Подтягин облизал толстым, пупырчатым языком засохшие губы:

— Меня в Париже давно ждут, Левушка. А у племянницы нет денег выслать мне на дорогу. Эх-ма…

Ганин сел на подоконник (и мельком подумал: «Я так сидел совсем недавно, но где?» И вдруг вспомнил — цветную глубину беседки, белый откидной столик, дырку на носке).

— Потушите, пожалуйста, свет, голубчик, — попросил Подтягин. — Больно глазам.

В полутьме все показалось очень странным: и шум первых поездов, и эта большая седая тень в кресле, и блеск пролитой воды на полу. И все это было гораздо таинственнее и смутнее той бессмертной действительности, которой жил Ганин.

# IX

Утром Колин заваривал для Горноцветова чай. В этот четверг Горноцветов должен был рано поехать за город, чтобы повидать балерину, набиравшую труппу, и потому все в доме еще спали, когда Колин, в необыкновенно грязном японском халатике и в потрепанных ботинках на босу ногу, поплелся в кухню за кипятком. Его круглое, неумное, очень русское лицо, со вздернутым носом и синими томными глазами (сам он думал, что похож на верленовского «полу-пьерро, полу-гаврош», было помято и лоснилось, белокурые волосы, еще не причесанные на косой ряд, падали поперек лба, свободные шнурки ботинок со звуком мелкого дождя похлестывали об пол. Он по-женски надувал губы, возясь с чайником, а потом стал что-то мурлыкать, тихо и сосредоточенно. Гроноцветов кончал одеваться, завязывал бантиком пятнистый галстук перед зеркалом, сердясь на прыщ, только что срезанный при бритье и теперь сочащийся желтой кровью сквозь плотный слой пудры. Лицо у него было темное, очень правильное, длинные загнутые ресницы

придавали его карим глазам ясное, невинное выраженье, черные короткие волосы слегка курчавились, он по-кучерски брил сзади шею и отпускал бачки, которые двумя темными полосками загибались вдоль ушей. Был он, как и его приятель, невысокого роста, очень тощий, с прекрасно развитыми мускулами ног, но узенький в груди и в плечах.

Они подружились сравнительно недавно, танцевали в русском кабаре где-то на Балканах и месяца два тому назад приехали в Берлин в поисках театральной фортуны. Особый оттенок, таинственная жеманность несколько отделяла их от остальных пансионеров, но, говоря по совести, нельзя было порицать голубиное счастье этой безобидной четы.

Колин, после ухода друга, оставшись один в неубранной комнате, открыл прибор для отделки ногтей и, вполголоса напевая, стал подрезывать себе заусенцы. Чрезмерной чистоплотностью он не отличался, зато ногти держал в отменном порядке.

В комнате тяжело пахло ориганом и потом; в мыльной воде плавал пучок волос, выдернутых из гребешка. По стенам поднимали ножку балетные снимки; на столе лежал большой раскрытый

веер и рядом с ним — грязный крахмальный воротничок.

Колин, полюбовавшись на пунцоватый блеск вычищенных ногтей, тщательно вымыл руки, натер лицо и шею туалетной водой, душистой до тошноты, скинув халат, прошелся нагишом на пуантах, подпрыгнул с быстрой ножною трелью, проворно оделся, напудрил нос, подвел глаза и, застегнув на все пуговицы серое, в талию, пальто, пошел прогуляться, ровным движеньем поднимая и опуская конец щегольской тросточки.

Возвращаясь домой к обеду, он обогнал у парадной двери Ганина, который только что покупал в аптеке лекарство для Подтягина. Старик чувствовал себя хорошо, что-то пописывал, ходил по комнате, но Клара, посоветовавшись с Ганиным, решила не пускать его сегодня из дому.

Колин, подоспев сзади, сжал Ганину руку повыше локтя. Тот обернулся:

— А, Колин… хорошо погуляли?

— Алек сегодня уехал, — заговорил Колин, поднимаясь рядом с Ганиным по лестнице. — Я ужасно волнуюсь, получит ли он ангажемент…

— Так, так, — сказал Ганин, который решительно не знал, о чем с ним говорить.

Колин засмеялся:

— А Алферов-то вчера опять застрял в лифте. Теперь лифт не действует…

Он повел набалдашником трости по перилу и посмотрел на Ганина с застенчивой улыбкой:

— Можно у вас посидеть немного? Мне что-то очень скучно сегодня…

«Ну ты, брат, не вздумай со скуки ухаживать за мной», — мысленно огрызнулся Ганин, открывая дверь пансиона, и вслух ответил:

— К сожалению, я сейчас занят. В другой раз.

— Как жаль, — протянул Колин, входя за Ганиным и прикрывая за собой дверь. Дверь не поддалась, кто-то сзади просунул большую, коричневую руку, и оттуда басистый берлинский голос грянул:

— Одно мгновенье, господа.

Ганин и Колин оглянулись. Порог переступил усатый, тучный почтальон.

— Здесь живет герр Алфэров?

— Первая дверь налево, — сказал Ганин.

— Благодарю, — на песенный лад прогудел почтальон и постучался в указанный номер.

Это была телеграмма.

— Что такое? Что такое? Что такое? — судорожно лепетал Алферов, неловкими пальцами развертывая ее. От волненья он не сразу мог про-

честь наклеенную ленточку бледных неровных букв: «priedu subbotu 8 utra». Алферов вдруг понял, вздохнул и перекрестился.

— Слава тебе. Господи… Приезжает.

Широко улыбаясь и потирая свои костлявые ляжки, он присел на постель и стал покачиваться взад и вперед. Его водянисто-голубые глаза быстро помигивали, бородка цвета навозца золотилась в косом потоке солнца.

— Зер гут, — бормотал он. — Послезавтра — суббота. Зер гут. Сапоги в каком виде!.. Машенька удивится. Ничего, как-нибудь проживем. Квартирку наймем, дешевенькую. Она уж решит. А пока здесь поживем. Благо: дверь есть между комнатами.

Погодя немного, он вышел в коридор и постучался в соседний номер.

Ганин подумал: «Что это мне сегодня покоя не дают?»

— Вот что, Глеб Львович, — без обиняков начал Алферов, круговым взглядом обводя комнату, — вы когда думаете съехать?

Ганин с раздраженьем посмотрел на него:

— Меня зовут Лев. Постарайтесь запомнить.

— Ведь к субботе съедете? — спросил Алферов и мысленно соображал: «Постель нужно будет

иначе. Шкап от проходной двери отставить...»

— Да, съеду, — ответил Ганин и опять, как тогда за обедом, почувствовал острую неловкость.

— Ну вот и отлично, — возбужденно подхватил Алферов. — Простите за беспокойство, Глеб Львович.

И в последний раз окинув взглядом комнату, он со стуком вышел.

— Дурак... — пробормотал Ганин. — К черту его. О чем это я так хорошо думал сейчас... Ах, да... ночь, дождь, белые колонны.

— Лидия Николаевна! Лидия Николаевна! — громко звал маслянистый голос Алферова в коридоре.

«Житья от него нет, — злобно подумал Ганин. — Не буду сегодня здесь обедать. Довольно.»

На улице асфальт отливал лиловым блеском; солнце путалось в колесах автомобилей. Рядом с кабачком был гараж; пройма его ворот зияла темнотой, и оттуда нежно пахнуло карбидом. И этот случайный запах помог Ганину вспомнить еще живее тот русский, дождливый август, тот поток счастья, который тени его берлинской жизни все утро так назойливо прерывали.

Он выходил из светлой усадьбы в черный, журчащий сумрак, зажигал нежный огонь в

фонарике велосипеда, — и теперь, когда он случайно вдохнул карбид, все ему вспомнилось сразу: мокрая трава, хлещущая по движущейся икре, по спицам колес, круг молочного света, впивающий и растворяющий тьму, из которой возникали: то морщинистая лужа, то блестящий камешек, то навозом обитые доски моста, то, наконец, вертящаяся калитка, сквозь которую он протискивался, задевая плечом мягкую мокрую листву акаций.

И тогда в струящейся тьме выступали с тихим вращеньем колонны, омытые все тем же нежным, белесым светом велосипедного фонарика, и там на шестиколонном крытом перроне чужой заколоченной усадьбы его встречал душистый холодок, смешанный запах духов и промокшего шевиота, — и этот осенний, этот дождевой поцелуй был так долог и так глубок, что потом плыли в глазах большие, светлые, дрожащие пятна, и еще сильнее казался развесистый, многолиственный, шелестящий шум дождя. Мокрыми пальцами он открывал стеклянную дверцу фонарика, тушил огонек. Ветер напирал из тьмы тяжело и влажно. Машенька, сидя рядом на облупившейся балюстраде, гладила ему виски холодной ладошкой, и в темноте он различал смутный угол ее промок-

шего банта и улыбавшийся блеск глаз.

Дождевая сила в липах перед перроном, в черной, клубящейся тьме, прокатывала широким порывом, и скрипели стволы, схваченные железными скрепами для поддержания их дряхлой мощи. И под шум осенней ночи он расстегивал ей кофточку, целовал ее в горячую ключицу; она молчала, — только чуть блестели глаза, — и кожа на ее открытой груди медленно остывала от прикосновений его губ и сырого ночного ветра. Они говорили мало, говорить было слишком темно. Когда он наконец зажигал спичку, чтобы посмотреть на часы, Машенька щурилась, откидывала со щеки мокрую прядь. Он обнимал ее одной рукой, другой катил, толкая за седло, велосипед, — и в моросящей тьме они тихо шли прочь, спускались по тропе к мосту и там прощались — длительно, горестно, словно перед долгой разлукой.

И в ту черную, бурную ночь, когда, накануне отъезда в Петербург к началу школьного года, он в последний раз встретился с ней на этом перроне с колоннами, случилось нечто страшное и нежданное, символ, быть может, всех грядущих кощунств. В эту ночь особенно шумно шел дождь, и особенно нежной была их встреча. И

внезапно Машенька вскрикнула, спрыгнула с перил. И при свете спички Ганин увидел, что ставня одного из окон, выходящих на перрон, отвернута, что к черному стеклу изнутри прижимается, сплющив белый нос, человеческое лицо. Оно двинулось, скользнуло прочь, но оба они успели узнать рыжеватые вихры и выпученный рот сына сторожа, зубоскала и бабника лет двадцати, всегда попадавшегося им в аллеях парка. И Ганин одним бешеным прыжком кинулся к окну, просадил спиною хряснувшее стекло, ввалился в ледяную мглу и с размаху ударился головой в чью-то крепкую грудь, которая екнула от толчка. И в следующий миг они сцепились, покатились по гулкому паркету, задевая во тьме мертвую мебель в чехлах, и Ганин, высвободив правую руку, стал бить каменным кулаком по мокрому лицу, оказавшемуся вдруг под ним. И только когда сильное тело, прижатое им к полу, вдруг обмякло и стало стонать, он встал и тяжело дыша, тыкаясь во тьме о какие-то мягкие углы, добрался до окна, вылез опять на перрон, отыскал рыдавшую, перепуганную Машеньку — и тогда заметил, что изо рта у него течет что-то теплое, железистое, и что руки порезаны осколками стекла. А утром он уехал в Петербург — и по дороге

на станцию, из окна глухо и мягко стучавшей кареты, увидел Машеньку, шедшую по краю шоссе вместе с подругами. Стенка, обитая черной кожей, мгновенно закрыла ее, и так как он был не один в карете, то он не решился взглянуть в заднее овальное оконце.

Судьба в этот последний августовский день дала ему наперед отведать будущей разлуки с Машенькой, разлуки с Россией.

Это было пробным испытанием, таинственным предвкушением; особенно грустно уходили одна за другой в серую муть горящие рябины, и казалось невероятным, что весною он опять увидит эти поля, этот валун на юру, эти задумчивые телеграфные столбища.

В петербургском доме все показалось по-новому чистым, и светлым, и положительным, как это всегда бывает по возвращении из деревни. Началась школа, — он был в седьмом классе, учился небрежно. Выпал первый снег, и чугунные ограды, спины понурых лошадей, дрова на баржах, покрылись белым, пухловатым слоем.

И только в ноябре Машенька переселилась в Петербург. Они встретились под той аркой, где — в опере Чайковского — гибнет Лиза. Валил отвесно крупный мягкий снег в сером, как матовое

стекло, воздухе. И Машенька в это первое петербургское свидание показалась слегка чужой, оттого, быть может, что была в шляпе и в шубке. С этого дня началась новая — снеговая — эпоха их любви. Встречаться было трудно, подолгу блуждать на морозе было мучительно, искать теплой уединенности в музеях и в кинематографах было мучительнее всего, — и недаром в тех частых, пронзительно нежных письмах, которые они в пустые дни писали друг другу (он жил на Английской набережной, она на Караванной), оба вспоминали о тропинках парка, о запахе листопада, как о чем-то немыслимо дорогом и уже невозвратимом: быть может только бередили любовь свою, а может быть действительно понимали, что настоящее счастье минуло. И по вечерам они звонили друг другу, — узнать, получено ли письмо, и где и когда встретиться: ее смешное произношение было еще прелестнее в телефон, она говорила куцые стишки и тепло смеялась, прижимала к груди трубку, и ему чудилось, что он слышит стук ее сердца.

Так они говорили часами.

Она ходила в ту зиму в серой шубке, слегка толстившей ее, и в замшевых гетрах, надетых прямо на тонкие комнатные башмачки. Он никогда не

видел ее простуженной, даже озябшей. Мороз, метель только оживляли ее, и в ледяных вихрях в темном переулке он обнажал ей плечи, снежинки щекотали ее, она улыбалась сквозь мокрые ресницы, прижимала к себе его голову, и рыхлый снежок осыпался с его каракулевой шапки к ней на голую грудь.

Эти встречи на ветру, на морозе больше его мучили, чем ее. Он чувствовал, что от этих несовершенных встреч мельчает, протирается любовь. Всякая любовь требует уединенья, прикрытия, приюта, а у них приюта не было. Их семьи не знали друг друга; эта тайна, которая сперва была такой чудесной, теперь мешала им. И ему начинало казаться, что все поправится, если она, хотя бы в меблированных номерах, станет его любовницей, — и эта мысль жила в нем как-то отдельно от самого желанья, которое уже слабело под пыткой скудных прикосновений.

Так проблуждали они всю зиму, вспоминая деревню, мечтая о будущем лете, иногда ссорясь и ревнуя, пожимая друг дружке руки под мохнатой, плешивой полостью легких извощичьих сапок, — а в самом начале нового года Машеньку увезли в Москву.

И странно: эта разлука была для Ганина облег-

ченьем.

Он знал, что летом она вернется в дачное место под Петербургом, он сперва много думал о ней, воображал новое лето, новые встречи, писал ей все те же пронзительные письма, а потом стал писать реже, а когда сам переехал на дачу в первые дни мая, то и вовсе писать перестал. И в эти дни он успел сойтись и порвать с нарядной, милой, белокурой дамой, муж которой воевал в Галиции.

И потом Машенька вернулась.

Голос ее слабо и далеко вспыхнул, в телефоне дрожал гул, как в морской раковине, по временам еще более далекий перекрестный голос перебивал, вел с кем-то разговор в четвертом измереньи: дачный телефонный аппарат был старый, с вращательной ручкой, — и между ним и Машенькой было верст пятьдесят гудящего тумана.

— Я приеду, — кричал в трубку Ганин. — Я говорю, что приеду. На велосипеде, выйдет два часа.

— …Не хотел опять в Воскресенске. Ты слушаешь? Папа ни за что не хотел опять снять дачу в Воскресенске. От тебя досюда пятьдесят…

— Не забудьте привезти штиблеты, — мягко и равнодушно сказал перекрестный голос.

И снова в жужжаньи просквозила Машенька

точно в перевернутом телескопе. И когда она совсем исчезла, Ганин прислонился к стене и почувствовал, что у него горят уши.

Он выехал около трех часов дня, в открытой рубашке и футбольных трусиках, в резиновых башмаках на босу ногу. Ветер был в спину, он ехал быстро, выбирая гладкие места между острых камешков на шоссе, и вспоминал, как проезжал мимо Машеньки в прошлом июле, когда еще не был с нею знаком.

На пятнадцатой версте лопнула задняя шина, и он долго чинил ее, сидя на краю канавы. Над полями, с обеих сторон шоссе, звенели жаворонки; прокатил в облаке пыли серый автомобиль с двумя офицерами в совиных очках. Покрепче надув починенную шину, он поехал дальше, чувствуя, что не рассчитал, опоздал уже на час. Свернув с шоссе, он поехал лесом, по тропе, указанной прохожим мужиком. И потом свернул опять, да неверно, и долго колесил, раньше чем попал на правильную дорогу. Он отдохнул и поел в деревушке и, когда оставалось всего двенадцать верст, переехал острый камушек, и опять свистнула и осела та же шина.

Было уже темновато, когда он прикатил в дачный городок, где жила Машенька. Она ждала

его у ворот парка, как было условлено, но уже не надеялась, что он приедет, так как ждала уже с шести часов. Увидя его, она от волненья оступилась, чуть не упала. На ней было белое сквозистое платье, которого Ганин не знал. Бант исчез, и потому ее прелестная голова казалась меньше. В подобранных волосах синели васильки.

В этот странный, осторожно-темнеющий вечер, в липовом сумраке широкого городского парка, на каменной плите, вбитой в мох, Ганин, за один недолгий час, полюбил ее острее прежнего и разлюбил ее как будто навсегда.

Они сначала говорили тихо и блаженно, — о том, что вот так долго не виделись, о том, что на мху, как крохотный семафор, блестит светлячок. Ее милые, милые татарские глаза близко скользили у его лица, белое платье, словно мерцало в темноте, — и, Боже мой, этот запах ее, непонятный, единственный в мире…

— Я твоя, — сказала она. — Делай со мной, что хочешь.

Молча, с бьющимся сердцем, он наклонился над ней, забродил руками по ее мягким, холодноватым ногам. Но в парке были странные шорохи, кто-то словно все приближался из-за кустов; коленям было твердо и холодно на каменной плите;

Машенька лежала слишком покорно, слишком неподвижно.

Он застыл, потом неловко усмехнулся. — Мне все кажется, что кто-то идет, — сказал он и поднялся.

Машенька вздохнула, оправила смутно белевшее платье, встала тоже.

И потом, когда они шли к воротам по пятнистой от луны дорожке, Машенька подобрала с травы бледно-зеленого светляка. Она держала его на ладони, наклонив голову, и вдруг рассмеялась, сказала с чуть деревенской ужимочкой: «В обчем — холодный червячок».

И в это время Ганин, усталый, недовольный собой, озябший в своей легкой рубашке, думал о том, что все кончено, Машеньку он разлюбил, — и когда через несколько минут он покатил в лунную мглу домой по бледной полосе шоссе, то знал, что больше к ней не приедет.

Лето прошло; Машенька не писала, не звонила, он же занят был другими делами, другими чувствами.

Снова на зиму он вернулся в Петербург, ускоренным порядком в декабре держал выпускные экзамены, поступил в Михайловское юнкерское училище. И следующим летом, уже в год револю-

ции, он еще раз увиделся с Машенькой.

Он был на перроне Варшавского вокзала. Вечерело. Только что подали дачный поезд. В ожиданьи звонка, он гулял взад и вперед по замызганной платформе и, глядя на сломанную багажную тачку, думал о чем-то другом, о вчерашней пальбе перед Гостиным Двором, и вместе с тем был раздражен мыслью, что не мог дозвониться на дачу, и что придется плестись со станции на извозчике.

Когда лязгнул третий звонок, он подошел к единственному в составе синему вагону, стал влезать на площадку, — и на площадке, глядя на него сверху, стояла Машенька. За год она изменилась, слегка, пожалуй, похудела и была в незнакомом синем пальто с пояском. Ганин неловко поздоровался, вагон громыхнул буферами, поплыл. Они остались стоять на площадке. Машенька, должно быть, видела его раньше и нарочно забралась в синий вагон, хотя ездила всегда в желтом, и теперь с билетом второго не хотела идти в отделение. В руках у нее была плитка шоколада Блигкен и Робинсон; она сразу отломала кусок, предложила.

И Ганину было страшно грустно смотреть на нее, — что-то робкое, чужое было во всем ее об-

лике, посмеивалась она реже, все отворачивала лицо. И на нежной шее были лиловатые кровоподтеки, теневое ожерелье, очень шедшее к ней. Он рассказывал какую-то чепуху, показывал ссадину от пули на сапоге, говорил о политике. А вагон погрохатывал, поезд несся между дымившихся торфяных болот в желтом потоке вечерней зари; торфяной сероватый дым мягко и низко стелился, образуя как бы две волны тумана, меж которых несся поезд.

Она слезла на первой станции, и он долго смотрел с площадки на ее удалявшуюся синюю фигуру, и чем дальше она отходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбит ее. Она не оглянулась. Из сумерек тяжело и пушито пахло черемухой.

Когда поезд тронулся, он вошел в отделение, и там было темно, оттого что в пустом вагоне кондуктор не счел нужным зажечь огарки в фонарях. Он лег навзничь на полосатый тюфяк лавки и в пройму дверцы видел, как за коридорным окном поднимаются тонкие провода среди дыма горящего торфа и смуглого золота заката. Было странно и жутковато нестись в этом пустом, тряском вагоне между серых потоков дыма, и странные мысли приходили в голову, словно

все это уже было когда-то, — так вот лежал, подперев руками затылок, в сквозной, грохочущей тьме, и так вот мимо окон, шумно и широко, проплывал дымный закат. Больше он не видался с Машенькой.

# X

Шум подкатил, хлынул, бледное облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомойнике. Поезд прошел, и теперь в окне снова раскинулась веерная пустыня рельс. Нежен и туманен Берлин, в апреле, под вечер.

В этот четверг, в сумерки, когда всего глуше гул поездов, к Ганину зашла, ужасно волнуясь, Клара — передать ему Людмилины слова: «Скажи ему так, — бормотала Людмила, когда от нее уходила подруга. — Так скажи: что я не из тех женщин, которых бросают. Я сама умею бросать. Скажи ему, что я от него ничего не требую, не хочу, но считаю свинством, что он не ответил на мое письмо. Я хотела проститься с ним по-дружески, предложить ему, что пускай любви не будет, но пускай останутся самые простые дружеские отношения, а он не потрудился даже позвонить. Передай ему, Клара, что я ему желаю всякого счастья с его немочкой и знаю, что он не так скоро забудет меня».

— Откуда взялась немочка? — поморщился Ганин, когда Клара, не глядя на него, быстрым,

тихим голосом передала ему все это. — И вообще, почему она вмешивает вас в это дело. Очень все это скучно.

— Знаете что, Лев Глебович, — вдруг воскликнула Клара, окатив его своим влажным взглядом, — вы просто очень недобрый… Людмила о вас думает только хорошее, идеализирует вас, но если бы она все про вас знала…

Ганин с добродушным удивлением глядел на нее. Она смутилась, испугалась, опустила опять глаза.

— Я только передаю вам, потому что она сама просила, — тихо сказала Клара.

— Мне нужно уезжать, — после молчанья спокойно заговорил Ганин. — Эта комната, эти поезда, стряпня Эрики — надоели мне. К тому же деньги мои кончаются, скоро придется опять работать. Я думаю в субботу покинуть Берлин навсегда, махнуть на юг земли, в какой-нибудь порт…

Он задумался, сжимая и разжимая руку.

— Впрочем я ничего не знаю… есть одно обстоятельство… Вы бы очень удивились, если бы узнали, что я задумал… У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет.

«Какой он, право, странный», — думала Клара, с тем щемящим чувством одиночества, которое всегда овладевает нами, когда человек, нам дорогой, предается мечте, в которой нам нет места.

Зеркально-черные зрачки Ганина расширились, нежные, частые ресницы придавали что-то пушистое, теплое его глазам, и спокойная улыбка задумчивости чуть приподымала его верхнюю губу, из-под которой белой полоской блестели ровные зубы. Темные, густые брови, напоминавшие Кларе обрезки дорогого меха, то сходились, то расступались, и на чистом лбу появлялись и исчезали мягкие морщинки. Заметив, что Клара глядит на него, он перемигнул ресницами, провел рукой по лицу и вспомнил, что хотел ей сказать:

— Да. Я уезжаю, и все прекратится. Вы так просто ей и скажите: Ганин, мол, уезжает и просит не поминать его лихом. Вот и все.

# XI

В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку: Ввиду того, что:

1. Господин Ганин нас покидает.

2. Господин Подтягин покидать собирается.

3. К господину Алферову завтра приезжает жена.

4. M-lle Кларе исполняется двадцать шесть лет.

И 5. Нижеподписавшиеся получили в сем городе ангажемент — ввиду всего этого устраивается сегодня в десять часов пополудни в номере шестого апреля — празднество.

— Гостеприимные юноши, — усмехнулся Подтягин, выходя из дома вместе с Ганиным, который взялся сопровождать его в полицию. — Куда это вы едете, Левушка? Далеко загнете? Да… Вы — вольная птица. Вот меня в юности мучило желанье путешествовать, пожирать свет Божий. Осуществилось, нечего сказать…

Он поежился от свежего весеннего ветра, поднял воротник пальто, темно-серого, чистого, с большущими костяными пуговицами. Он еще

чувствовал в ногах сосущую слабость, оставшуюся после припадка, но сегодня ему было как-то легко, весело от мысли, что теперь-то уж наверное кончится возня с паспортом, и он получит возможность хоть завтра уехать в Париж.

Громадное, багровое здание центрального полицейского управления выходило сразу на четыре улицы; оно было построено в грозном, но очень дурном готическом стиле, с тусклыми окнами, с очень интересным двором, через который нельзя было проходить, и с бесстрастным полицейским у главного портала. Стрелка на стене указывала через улицу на мастерскую фотографа, где в двадцать минут можно было получить свое жалкое изображение: полдюжины одинаковых физиономий, из которых одна наклеивалась на желтый лист паспорта, еще одна поступала в полицейский архив, а остальные, вероятно, расходились по частным коллекциям чиновников.

Подтягин и Ганин вошли в широкий серый коридор. У двери паспортного отделенья стоял столик, и седой, в усах, чиновник выдавал билетики с номерами, изредка, как школьный учитель, поглядывая через очки на небольшую разноплеменную толпу.

— Вам надо стать в очередь и взять номер, —

сказал Ганин.

— Этого-то я и не делал, — шепотом ответил старый поэт. — Прямо проходил в дверь…

Получив через несколько минут билетик, он обрадовался, стал еще больше похож на толстую морскую свинку.

В голой комнате, где за низкой перегородкой, в душной волне солнца, сидели за своими столами чиновники, опять была толпа, которая, казалось, только затем и пришла, чтобы во все глаза смотреть на то, как эти угрюмые господа пишут.

Ганин протиснулся вперед, таща за рукав Подтягина, который доверчиво посапывал.

Через полчаса, сдав подтягинский паспорт, они перешли к другому столу, — опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыханье, и, наконец, за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом.

— Ну теперь айда в консульство, — радостно крякнул Подтягин, когда они вышли из грозного на вид, но в общем скучноватого заведения. — Теперь — дело в шляпе. Как это вы, Лев Глебович дорогой, так покойно с ними говорили? А я-то в прошлые разы как мучился… Давайте-ка, на имперьял влезем. Какое, однако, счастье. Я даже, знаете, вспотел.

Он первый вскарабкался по винтовой лесенке, кондуктор сверху бабахнул ладонью о железный борт, автобус тронулся. Мимо поплыли дома, вывески, солнце в витринах.

— Наши внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами, — говорил Подтягин, благоговейно рассматривая свой паспорт. — Никак не поймут, что в простом штемпеле могло быть столько человеческого волненья… Как вы думаете, — вдруг спохватился он, — мне теперь французы наверное визу поставят?

— Ну конечно, поставят, — сказал Ганин. — Ведь вам сообщили, что есть разрешение.

— Пожалуй, завтра уеду, — посмеивался Подтягин. — Поедем вместе, Левушка. Хорошо будет в Париже. Нет, да вы только посмотрите, какая мордомерия у меня.

Ганин через его руку взглянул на паспорт, на снимок в уголку. Снимок, точно, был замечательный: изумленное распухшее лицо плавало в сероватой мути.

— А у меня целых два паспорта, — сказал с улыбкой Ганин. — Один русский, настоящий, только очень старый, а другой польский, подложный. По нему-то и живу.

Подтягин, платя кондуктору, положил свой

желтый листок на сиденье, рядом с собой, выбрал из нескольких монет на ладони сорок пфеннигов, вскинул глаза на кондуктора:

— Генух?

Потом бочком глянул на Ганина.

— Что это вы говорите, Лев Глебович. Подложный?

— Именно. Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин.

— Как же это так, голубчик, — удивленно таращил глаза Подтягин и вдруг схватился за шляпу, — дул сильный ветер.

— Так. Были дела, — задумчиво проговорил Ганин. — Года три тому назад. Партизанский отряд. В Польше. И так далее. Я когда-то думал: проберусь в Петербург, подниму восстание… А теперь как-то забавно и удобно с этим паспортом.

Подтягин вдруг отвел глаза, мрачно сказал:

— Мне, Левушка, сегодня Петербург снился. Иду по Невскому, знаю, что Невский, хотя ничего похожего. Дома — косыми углами, сплошная футуристика, а небо черное, хотя знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно, — ох, страшно, — что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть,

которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира.

— Нет, — сказал Ганин, — мне снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, незнакомые просеки. Но это ничего. Нам тут вылезать, Антон Сергеевич.

Он сошел по винтовой лесенке, помог Подтягину соступить на асфальт.

— Вода славно сверкает, — заметил Подтягин, с трудом дыша и указывая растопыренной рукой на канал.

— Осторожно, — велосипед, — сказал Ганин. — А консульство вон там, направо.

— Примите мое искреннее благодарение, Лев Глебович. Я один бы никогда не кончил этой паспортной канители. Отлегло. Прощай, Дейтчланд.

Они вошли в здание консульства и стали подниматься по ступеням.

Подтягин на ходу пошарил в кармане.

— Идем же, — обернулся Ганин.

Но старик все шарил.

# XII

К обеду собралось только четверо пансионеров.

— Что же наши-то, — так опоздали? — весело проговорил Алферов.

— Верно, ничего у них не вышло.

От него так и несло радостным ожиданием. Накануне он ходил на вокзал, узнал точный час прихода северного поезда: 8,05. Утром чистил костюм, купил пару новых манжет, букет ландышей. Денежные дела его как будто поправлялись. Перед обедом он сидел в кафе с мрачным бритым господином, который предлагал ему несомненно выгодную комбинацию. Его ум, привыкший к цифрам, был теперь заполнен одним числом, как бы десятичной дробью: восемь запятая ноль пять. Это был тот процент счастья, который покамест выдавала судьба. А завтра… Он жмурился и шумно вздыхал, представляя себе, как завтра, спозаранку, пойдет на вокзал, как будет ждать на платформе, как хлынет поезд…

Он исчез после обеда; танцоры, взволнованные, как женщины, предстоящим торжеством,

последовали: вышли под ручку закупать мелкие яства.

Одна Клара осталась дома: у нее болела голова, ныли тонкие кости полных ног; это вышло некстати, — ведь нынче был ее праздник. «Мне сегодня двадцать шесть лет, — думала она, — и завтра уезжает Ганин. Он нехороший человек, обманывает женщин, способен на преступление… Он может спокойно глядеть мне в глаза, хотя знает, что я видела, как он собирался украсть деньги. И все ж он весь — чудесный, я буквально целый день думаю о нем. И никакой нет надежды…»

Она посмотрела на себя в зеркало: лицо было бледнее обыкновенного; на лбу, под низкой каштановой прядью, появилась легкая сыпь; под глазами были желтовато-серые тени. Лоснистое черное платье, которое она надевала изо дня в день, ей надоело нестерпимо; на темно-прозрачном чулке, по шву, очень заметно чернела штопка; покривился каблучок.

Около пяти Подтягин и Ганин вернулись. Клара услышала их шаги и выглянула. Подтягин, бледный как смерть, в распахнутом пальто, держа в руке воротник и галстук, молча прошел в свою комнату и запер дверь на ключ.

— Что случилось? — шепотом спросила Клара.

Ганин цокнул языком:

— Паспорт потерял, а потом был припадок, тут, перед самым домом. Я едва дотащил его. Лифт не действует, — беда. Мы по всему городу рыскали.

— Я к нему пойду, — сказала Клара, — надо же его успокоить.

Подтягин не сразу ее впустил. Когда он, наконец, отпер, Клара ахнула, увидя его мутное, расстроенное лицо.

— Слыхали? — сказал он с печальной усмешкой. — Этакий я старый идиот. Ведь все уже было готово, — и нате вам… Хватился…

— Где же это вы уронили, Антон Сергеевич?.. — Именно: уронил. Поэтическая вольность… Запропастить паспорт. Облако в штанах, нечего сказать. Идиотина.

— Может быть, подберет кто-нибудь, — сочувственно протянула Клара.

— Какое там… Это значит судьба. Судьбы не миновать. Не уехать мне отсюда. Так на роду было написано… Он тяжело сел.

— Плохо мне, Клара… На улице так задохнулся, что думал: конец. Ах, ты, Боже мой, прямо теперь не знаю, что дальше делать. Разве, вот — в ящик сыграть…

# XIII

А Ганин, вернувшись к себе, принялся укладываться. Он вытащил из-под постели два пыльных, кожаных чемодана, — один в клетчатом чехле, другой голый, смугло-желтоватый, с бледными следами наклеек, — и все содержимое вывалил на пол. Затем он вынул из тряской, скрипучей темноты шкапа черный костюм, тощую пачку белья, пару тяжелых бурых сапог с медными кнопками. Из ночного столика он извлек разнородные штучки, когда-то брошенные туда: серые комочки грязных носовых платков, тонкие бритвенные ножи с подтеками ржавчины вокруг просверленных дырочек, старые газеты, видовые открытки, желтые, как лошадиные зубы, четки, рваный шелковый носок, потерявший свою пару.

Ганин скинул пиджак и, опустившись на корточки среди этого грустного пыльного хлама, стал разбираться в нем, прикидывать, что взять, что уничтожить.

Раньше всего он уложил костюм и чистое белье, потом браунинг и старые, сильно потертые

в паху, галифе.

Раздумывая, что должно пойти дальше, он заметил черный бумажник, который упал под стул, когда он опоражнивал чемодан. Он поднял его, открыл было, с улыбкой, думая о том, что в нем лежит, — но сказав себе, что нужно поскорее уложиться, сунул бумажник в задний карман штанов и стал быстро и неразборчиво бросать в открытые чемоданы: комья грязного белья, русские книжки, Бог весть откуда забредшие к нему, и все те мелкие, чем-то милые предметы, к которым глаза и пальцы так привыкают, и которые нужны только для того, чтобы человек, вечно обреченный на новоселье, чувствовал себя хотя бы немного дома, выкладывая в сотый раз из чемодана легкую, ласковую, человечную труху.

Уложившись, Ганин запер оба чемодана, поставил их рядышком, набил мусорную корзину трупами газет, осмотрел все углы опустевшей комнаты и пошел к хозяйке расплачиваться. Лидия Николаевна, сидя очень прямо в кресле, читала, когда он вошел. Ее такса мягко сползла с постели и забилась в маленькой истерике преданности у ног Ганина.

Лидия Николаевна, поняв, что он уже теперь непременно уедет, опечалилась. Она любила

большую спокойную фигуру Ганина да и вообще очень привыкала к жильцам, и было что-то подобное смерти в их неизбежных отъездах.

Ганин заплатил за последнюю неделю, поцеловал легкую, как блеклый лист, руку.

Идя назад по коридору, он вспомнил, что сегодня танцоры звали его на вечеринку, и решил пока не уходить: комнату в гостинице всегда можно нанять, хоть заполночь.

«А завтра приезжает Машенька, — воскликнул он про себя, обведя блаженными, слегка испуганными глазами потолок, стены, пол. — Завтра же я увезу ее», — подумал он с тем же глубоким мысленным трепетом, с тем же роскошным вздохом всего существа.

Быстрым движением он вынул черный бумажник, в котором хранил пять писем; он получил их, когда уже был в Крыму. И теперь он мгновенно целиком вспомнил ту крымскую зиму: норд-ост, вздымающий горькую пыль на ялтинской набережной, волну, бьющую через парапет на панель, растерянно-наглых матросов, потом немцев в железных грибах шлемов, потом веселые трехцветные нашивки, — дни ожиданья, тревожную передышку, — худенькую, веснушчатую проститутку со стриженными волосами

и греческим профилем, гуляющую по набережной, норд-ост, рассыпающий ноты оркестра в городском саду, и — наконец — поход, стоянки в татарских деревушках, где в крохотных цирюльнях день-деньской, как ни в чем не бывало, блестит бритва, взбухает мылом щека, меж тем как на улице, в пыли, мальчишки хлещут по своим волчкам, как тысячу лет тому назад, — и дикую ночную тревогу, когда не знаешь, откуда стрельба, и кто бежит вприпрыжку через лужи луны, между косыми черными тенями домишек.

Ганин вынул из пачки первое письмо — один плотный, удлиненный листок с рисунком в левом углу: молодой человек в лазурном фраке, держа за спиной букет бледных цветов, целует руку даме, такой же нежной, как и он, с завитками вдоль щек, в розовом, высоко подпоясанном, платье.

Ему переслали это первое письмо из Петербурга в Ялту; оно написано было спустя два года с лишком после той счастливейшей осени.

«Лева, вот я уже в Полтаве целую неделю, скука адская. Не знаю, увижу ли я вас еще когда-нибудь, но мне так хочется, чтобы вы все-таки не забывали меня».

Почерк был мелкий, кругленький, словно бегущий на цыпочках. Под «ш» и над «т» были для

отличия черточки; конечная буква бросала вправо стремительный хвостик; только у буквы «я» в конце слов трогательно загибался хвостик вниз и влево, как будто Машенька в последний миг брала слово назад; точки были очень крупные, решительные, зато запятых было мало.

«Подумать только, что неделю я смотрю на снег, белый, холодный снег. Холодно, жутко, тоскливо. И вдруг, как птица прорежет ум мысль, что где-то, там, далеко-далеко, люди живут совершенно другой, иной жизнью. Они не прозябают, как я в глуши маленького заброшенного хуторка…

Нет, это так уже очень тоскливо здесь. Лева, напишите мне что-либо. Хотя бы самые пустяки».

Ганин вспомнил, как получил это письмо, как пошел в этот далекий январский вечер по крутой каменистой тропе, мимо татарских частоколов, увенчанных там и сям конскими черепами, и как сидел над ручьем, тонкими струями омывающим белые гладкие камни, и глядел сквозь тончайшие, бесчисленные, удивительно отчетливые сучки голой яблони на розовато-млеющее небо, где блестел, как прозрачный обрезок ногтя, юный месяц, и рядом с ним, у нижнего рога, дрожала светлая капля — первая звезда.

Он написал ей в ту же ночь, — об этой звезде,

о кипарисах в садах, об осле, ревущем утром за домом, в татарском дворе. Он писал ласково, мечтательно, припомнил мокрые сережки на скользком мостике беседки, где они встретились.

В эти годы письма шли долго: только в июле пришел ответ.

«Большое спасибо за хорошее, милое, „южное“ письмо. Зачем вы пишете, что все-таки помните меня? И не забудете? Нет? Как хорошо!

Сейчас такой хороший, свежий, послегрозовой день. Помните, как в Воскресенске? Хотелось бы вам опять побродить по знакомым местам? Мне — ужасно. Как хорошо было бродить под дождем в осеннем парке. Почему тогда не было грустно в худую погоду?

Пока брошу писать, пойду пройдусь.

Вчера так и не удалось окончить письмо. Как нехорошо это с моей стороны. Правда? Ну простите, милый Лева, я правда больше не буду».

Ганин опустил руку с письмом, задумался, легко улыбаясь. Как он помнил эту вот веселую ужимку ее, низкий грудной смешок, когда она просила прощенья… Этот переход от пасмурного вздоха к горячей живости взгляда.

«Долго мучила неизвестность, где вы, и как

вы, — писала она в том же письме. — Теперь не надо прерывать эту маленькую ниточку, которая натянулась между нами. Я хочу написать, спросить очень много, и мысли путаются. Я много горя видела и пережила за это время. Пишите, пишите, ради Бога, почаще и побольше. А пока всего, всего хорошего. Хотелось бы проститься сердечнее, но может быть за это долгое время я разучилась. А может быть и другое что удерживает?»

Целые дни после получения письма он полон был дрожащего счастья. Ему непонятно было, как он мог расстаться с Машенькой. Он только помнил их первую осень, — все остальное казалось таким неважным, бледным, — эти мученья, размолвки. Его тяготила томная темнота, условный лоск ночного моря, бархатная тишь узких кипарисовых аллей, блеск луны на лопастях магнолий.

Долг удерживал его в Ялте, — готовилась военная борьба, — но минутами он решал все бросить, поехать искать Машеньку по малороссийским хуторкам.

И было что-то трогательно-чудесное, — как в капустнице, перелетающей через траншею, — в этом странствии писем через страшную Россию. Его ответ на второе письмо очень запоздал, и

Машенька никак не могла понять, что случилось, — так была она уверена, что для писем их нет обычных в то время преград.

«Вам конечно странно, что я пишу вам, несмотря на ваше молчанье, — но я не думаю, не хочу думать, что и теперь вы не ответите мне. Вы не потому не ответили, что не хотели, а просто потому, что… ну не могли, не успели что ли… Скажите, Лева, ведь смешно вам теперь вспоминать ваши слова, что любовь ко мне — ваша жизнь, и если не будет любви, — не будет и жизни… Да… Как все проходит, как меняется. Хотели бы вы вернуть все что было? Мне сегодня как-то слишком тоскливо…

*Но сегодня весна и сегодня мимозы*
*Предлагают на каждом шагу.*
*Я несу тебе их, они хрупки, как грезы…*

Хорошенькое стихотворение, но не помню ни начала, ни конца, и чье оно, тоже не помню. Теперь буду ждать вашего письма. Я не знаю, как попрощаться с вами. Быть может, я поцеловала вас. Да, должно быть…»

И через две-три недели пришло четвертое письмо:

«Лева, я рада, что получила. Оно такое милое,

милое… Да, нельзя забыть того, что мы любили друг друга, так много и светло. Вы пишете, что за миг отдали бы грядущую жизнь, — но лучше встретиться и проверить себя.

Лева, если все-таки приедете, то позвоните с вокзала на земскую телефонную станцию и попросите номер 34. Возможно, что вам ответят по-немецки: это у нас стоит германский лазарет. Вы попросите позвать меня.

Вчера была в городе, немного «кутила», много музыки, огня и света развеселило. Очень смешной господин с желтой бородкой за мной ухаживал и называл «королевой бала». Сегодня же так скучно, скучно. Обидно, что дни уходят и так бесцельно, глупо, — а ведь это самые хорошие, лучшие годы. Я, кажется, скоро превращусь в «ханжу». Нет, этого не должно быть.

*Сброшу с себя я оковы любви*
*И постараюсь забыться,*
*Налейте полнее бокалы вина,*
*Дайте вином мне упиться.*

Вот мило-то!

Ответьте мне сейчас, как получите мое письмо. Приедете ли сюда повидаться со мной? Нельзя? Ну, что же делать… А может быть? Какую глупость

я написала: приехать только для того, чтобы повидать меня. Какое самомнение! не так ли?

Прочитала сейчас в старом журнале хорошенькое стихотворение «ты моя маленькая, бледная жемчужина» Краповицкого. Мне очень нравится. Напишите мне все, все. Целую вас. Вот еще прочла, — Подтягина:

*Над опушкою полная блещет луна,*
*Погляди, как речная сияет волна».*

«Милый Подтягин, — улыбнулся Ганин. — Вот странно… Господи, как это странно… Если бы мне сказали тогда, что я именно с ним встречусь…»

Улыбаясь и покачивая головой, он развернул последнее письмо. Получил он его накануне отъезда на фронт. Был холодный, январский рассвет, и на пароходе его мутило от ячменного кофе.

«Лева, милый, радость моя, как ждала, как хотела я этого письма. Было больно и обидно писать и в то же время сдерживать самое себя в письмах. Неужели я жила эти три года без тебя, и было чем жить и для чего жить?

Я люблю тебя. Если ты возвратишься, я замучаю тебя поцелуями. Помнишь:

*Расскажите, что мальчика Леву*
*Я целую, как только могу,*

*Что австрийскую каску из Львова*
*Я в подарок ему берегу.*
*А отцу напишите отдельно…*

Боже мой, где оно, — все это далекое, светлое, милое… Я чувствую, так же как и ты, что мы еще увидимся, — но когда, когда?

Я люблю тебя. Приезжай. Твое письмо так обрадовало меня, что я до сих пор не могу прийти в себя от счастья…»

«Счастье, — повторил тихо Ганин, складывая все пять писем в ровную пачку. — Да, вот это — счастье. Через двенадцать часов мы встретимся».

Он замер, занятый тихими и дивными мыслями. Он не сомневался в том, что Машенька и теперь его любит. Ее пять писем лежали у него на ладони. За окном было совсем темно. Блестели кнопки чемоданов. Стоял легкий пустынный запах пыли.

Он сидел все в том же положении, когда за дверью раздались голоса, и вдруг, с разбегу, не постучавшись, ворвался в комнату Алферов.

— Ах, извините, — сказал он без особого смущенья. — Я почему-то думал, что вы уже уехали.

Ганин туманно глядел на его желтую бородку,

играя пальцами по сложенным письмам. В дверях показалась хозяйка.

— Лидия Николаевна, — продолжал Алферов, дергая шеей и развязно переходя через комнату. — Вот эту музыку нужно отставить, — чтобы дверь в мою комнату открыть.

Он попробовал сдвинуть шкап, крякнул и беспомощно попятился.

— Давайте, я это сделаю, — весело предложил Ганин и, засунув черный бумажник в карман, встал, подошел к шкапу, плюнул себе в руки.

# XIV

Гремели черные поезда, потрясая окна дома; волнуемые горы дыма, движеньем призрачных плеч, сбрасывающих ношу, поднимались с размаху, скрывая ночное засиневшее небо; гладким металлическим пожаром горели крыши под луной; и гулкая черная тень пробуждалась под железным мостом, когда по нему гремел черный поезд, продольно сквозя частоколом света. Рокочущий гул, широкий дым проходили, казалось, насквозь через дом, дрожавший между бездной, где поблескивали, проведенные лунным ногтем, рельсы, и той городской улицей, которую низко переступал плоский мост, ожидающий снова очередной гром вагонов. Дом был, как призрак, сквозь который можно просунуть руку, пошевелить пальцами.

Стоя у окна в камере танцоров, Ганин поглядел на улицу: смутно блестел асфальт, черные люди, приплюснутые сверху, шагали туда и сюда, теряясь в тенях и снова мелькая в косом отсвете витрин. В супротивном доме, за одним незавешенным окном, в светлом янтарном провале

виднелись стеклянные искры, золоченые рамы. Потом черная нарядная тень задернула шторы.

Ганин обернулся. Колин протягивал ему рюмку, в которой дрожала водка.

В комнате был бледноватый, загробный свет, оттого что затейливые танцоры обернули лампу в лиловый лоскуток шелка. Посередине, на столе, фиолетовым лоском отливали бутылки, блестело масло в открытых сардинных коробочках, был разложен шоколад в серебряных бумажках, мозаика колбасных долек, гладкие пирожки с мясом.

У стола сидели: Подтягин, бледный и угрюмый, с бисером пота на тяжелом лбу; Алферов, в новеньком переливчатом галстуке; Клара, в неизменном своем черном платье, томная, раскрасневшаяся от дешевого апельсинного ликера.

Горноцветов без пиджака, в нечистой шелковой рубашке с открытым воротом, сидел на краю постели, настраивал гитару, Бог весть откуда добытую. Колин все время двигался, разливал водку, ликер, бледное рейнское вино, и толстые бедра его смешно виляли, меж тем как оставался почти недвижным при ходьбе его худенький корпус, стянутый синим пиджачком.

— Что же вы ничего не пьете? — задал он, надув губы, обычный укоризненный вопрос и поднял

на Ганина свои нежные глаза.

— Нет, отчего же? — сказал Ганин, садясь на подоконник и беря из дрожавшей руки танцора легкую холодную рюмку. Опрокинув ее в рот, он обвел взглядом сидевших вокруг стола. Все молчали. Даже Алферов был слишком взволнован тем, что вот, через восемь-девять часов, приедет его жена, — чтобы болтать по своему обыкновению.

— Гитара настроена, — сказал Горноцветов, повернув винтик грифа и ущипнув струну. Он заиграл, потом потушил ладонью гнусавый звон.

— Что же вы, господа, не поете? В честь Клары. Пожалуйста. Как цветок душистый…

Он заиграл опять, перекинув ногу на ногу и опустив боком темную голову.

Алферов, осклабясь на Клару и с притворной удалью подняв рюмку, откинулся на своем стуле, — причем чуть не упал, так как это был вертящийся табурет без спинки, — и запел было фальшивым, нарочитым тенорком, но никто не вторил ему.

Горноцветов пощипал струны и умолк. Всем стало неловко.

— Эх, песенники… — уныло крякнул Подтягин, облокачиваясь на стол и покачивая подпертой го-

ловой. Ему было нехорошо: мысль о потерянном паспорте мешалась с чувством тяжелой духоты в груди.

— Вина мне нельзя пить, вот что, — добавил он угрюмо.

— Я говорила вам, — тихо сказала Клара, — вы, Антон Сергеич, как малый младенец.

— Что же это никто не ест и не пьет… — завилял боками Колин, семеня вокруг стола. Он стал наливать пустые рюмки. Все молчали. Вечеринка, по-видимому, не удалась.

Ганин, который до тех пор все сидел на подоконнике, с легкой задумчивой усмешкой в углах темных губ глядя на лиловатый блеск стола, на странно освещенные лица, вдруг спрыгнул на пол и ясно рассмеялся.

— Лейте, не жалейте, Колин, — сказал он, подходя к столу. — Вот Алферову пополнее. Завтра жизнь меняется. Завтра меня здесь не будет. Ну-ко-ся, залпом. Не глядите на меня, Клара, как раненая лань. Плесните ей ликеру. Антон Сергеич, вы тоже — веселее; нечего паспорт поминать. Другой будет, еще лучше старого. Скажите нам стихи, что ли. Ах, кстати…

— Можно мне вот эту пустую бутылку? — вдруг сказал Алферов, и похотливый огонек заиграл в

его радостных, взволнованных глазах.

— Кстати, — повторил Ганин, подойдя сзади к старику и опустив руку к нему на мягкое плечо. — Я одни ваши стихи помню, Антон Сергеич. Опушка… Луна… Так, кажется?.. — Подтягин обернул к нему лицо, неторопливо улыбнулся:

— Из календаря вычитали? Меня очень любили в календарях печатать. На исподе, над дежурным меню.

— Господа, господа, что он хочет делать — закричал Колин, указывая на Алферова, который, распахнув окно, вдруг поднял бутылку, метя в синюю ночь.

— Пускай, — рассмеялся Ганин, — пускай бесится… Алферовская бородка блестела, вздувался кадык, редкие волосы на темени шевелились от ночного ветерка. Широко размахнувшись, он замер, потом торжественно поставил бутылку на пол. Танцоры залились хохотом.

Алферов сел рядом с Горноцветовым, отнял у него гитару, стал пробовать играть. Он очень быстро пьянел.

— Кларочка такая серьезная, — с трудом говорил Подтягин. — Мне эти барышни когда-то проникновенные письма писали. А она теперь на меня и глядеть не хочет.

— Вы не пейте больше. Пожалуйста, — сказала Клара и подумала, что еще никогда в жизни ей не было так грустно, как сейчас.

Подтягин с усилием усмехнулся, потрепал Ганина по рукаву:

— А вот — будущий спаситель России. Расскажите что-нибудь, Левушка. Где шатались, как воевали?

— Нужно ли? — добродушно поморщился Ганин.

— Ну, а все-таки. Мне что-то, знаете, тяжело. Когда вы из России выехали?

— Когда? Эй, Колин. Вот этого липкого. Нет, не мне, — Алферову. Так. Смешайте.

# XV

Лидия Николаевна уже была в постели. Она испуганно отказалась от приглашения танцоров и теперь дремала чутким, старушечьим сном, сквозь который огромными шкапами, полными дрожащей посуды, проходил грохот поездов. Изредка сон ее прерывался, и тогда ей смутно слышны были голоса в номере шестом. Мельком ей приснился Ганин, и во сне она все не могла понять, кто он, откуда. Его облик и наяву был окружен таинственностью. И немудрено: никому не рассказывал он о своей жизни, о странствиях и приключениях последних лет, — да и сам он вспоминал о бегстве своем из России как бы сквозь сон, — подобный морскому, чуть сверкающему туману.

Быть может Машенька ему еще писала в те дни, — в начале девятнадцатого года, — когда он дрался на севере Крыма, но этих писем он не получил. Пошатнулся и пал Перекоп. Ганин, контуженный в голову, был привезен в Симферополь, и через неделю, больной и равнодушный, отрезанный от своей части, отступившей к Фе-

одосии, попал поневоле в безумный и сонный поток гражданской эвакуации. В полях, на склонах инкерманских высот, где некогда мелькали в дыму игрушечных пушек алые мундиры солдат королевы Виктории, уже цвела пустынно и прелестно крымская весна. Молочно-белое шоссе шло, плавно вздымаясь и опускаясь, откинутый верх автомобиля трещал, подпрыгивая на выбоинах, — и чувство быстроты с чувством весны, простора, бледно-оливковых холмов вдруг слилось в нежную радость, при которой забывалось, что это легкое шоссе ведет прочь от России.

Он приехал в Севастополь еще полный этой радости и, оставив чемодан в белокаменной гостинице Киста, где суета была необыкновенная, — спустился, пьяный от туманного солнца и мутной боли в голове, мимо бледных колонн дорического портика, по широким гранитным пластам ступеней, к Графской пристани и долго, без мысли об изгнанье, глядел на голубой, млеющий блеск моря, а потом поднялся снова на площадь, где стоит серый Нахимов в долгом морском сюртуке, с подзорной трубкой, и, добредя по пыльной, белой улице до самого Четвертого бастиона, осматривал серо-голубую Панораму, где настоящие старинные орудия, мешки, наро-

чито рассыпанные осколки и настоящий, как бы цирковой, песок за круговой балюстрадой переходили в мягкую, сизую, слегка душноватую картину, окружавшую площадку для зрителей и дразнившую глаз своей неуловимой границей.

Так и остался Севастополь у него в памяти, — весенний, пыльный, охваченный какой-то неживой сонной тревогой.

Ночью, уже с палубы, он глядел, как по небу, над бухтой, надуваются и снова спадают пустые белые рукава прожекторов, и черная вода гладко лоснилась под луной, и подальше, в ночном тумане, стоял весь в огоньках иностранный крейсер, покоясь на золотистых текучих столбах своего же отражения.

Судно, на которое он попал, было греческое, грязное; на палубе спали вповалку смуглые нищие беглецы из Евпатории, куда утром заходил пароход. Ганин устроился в кают-компании, где тяжело качалась лампа и стояли на длинном столе какие-то тюки, как гигантские бледные луковицы.

А потом пошли чудеснейшие, грустные морские дни; двумя скользящими белыми крылами вскипавшая навстречу пена все обнимала, обнимала нос парохода, разрезавший ее, и на светлых

скатах морских волн мягко мелькали зеленые тени людей, облокотившихся у борта.

Скрежетала ржавая рулевая цепь, две чайки плавали вокруг трубы, и влажные клювы их, попадая в луч, вспыхивали, точно алмазные.

Рядом заплакал толстоголовый греческий ребенок, и его мать стала в сердцах плевать на него, чтобы как-нибудь его успокоить. И вылезал на палубу кочегар, весь черный, с глазами, подведенными угольной пылью, с поддельным рубином на указательном пальце.

Вот такие мелочи, — не тоску по оставленной родине, — запомнил Ганин, словно жили одни только его глаза, а душа притаилась.

На второй день, оранжевым вечером, показался темный Стамбул и медленно пропал в сумраке ночи, опередившей судно. На заре Ганин поднялся на капитанский мостик: матово-черный берег Скутари медлительно синел. Отражение луны суживалось и бледнело. Лиловая синева неба переходила на востоке в червонную красноту, и, мягко светлея, Стамбул стал выплывать из сумерек. Вдоль берега заблестела шелковистая полоса ряби; черная шлюпка и черная феска беззвучно проплыли мимо. Теперь восток белел, и ветерок подул, соленой щекоткой прошел по

лицу. На берегу где-то заиграли зорю, промахнули над пароходом две чайки, черные как вороны, и с плеском легкого дождя, сетью мгновенных колец прыгнула стая рыб. И потом пристал ялик; тень под ним на воде выпускала и втягивала щупальцы. Но только когда Ганин вышел на берег и увидел у пристани синего турка, спавшего на огромной груде апельсинов, — только тогда он ощутил пронзительно и ясно, как далеко от него теплая громада родины и та Машенька, которую он полюбил навсегда.

И все это теперь развернулось, переливчато сверкнуло в памяти и снова свернулось в теплый комок, когда Подтягин, растерянно, через силу, спросил:

— Давно ли вы покинули Россию?

— Шесть лет, — ответил он коротко, а потом, сидя в углу под томно-фиолетовым светом, обливавшим скатерть отодвинутого стола и улыбавшиеся лица Колина и Горноцветова, которые молча и быстро танцевали посреди комнаты, Ганин думал: «Какое счастье. Это будет завтра, нет, сегодня, ведь уже заполночь. Машенька не могла измениться за эти годы, все так же горят и посмеиваются татарские глаза. Он увезет ее подальше, будет работать без устали для нее.

Завтра приезжает вся его юность, его Россия».

Колин, подбоченясь и встряхивая откинутой слегка головой, то скользя, то притаптывая каблуками и взмахивая носовым платком, вился вокруг Горноцветова, который, присев, ловко и лихо выкидывал ноги, все шибче, и наконец закружился на согнутой ноге. Алферов, охмелевший вконец, благодушно покачивался. Клара тревожно вглядывалась в потное, серое лицо Подтягина, который сидел как-то боком на постели и время от времени судорожно поводил головой.

— Вам нехорошо, Антон Сергеич, — зашептала она. — Вам нужно лечь, уже второй час…

…О, как это будет просто: завтра, — нет, сегодня, — он увидит ее: только бы совсем надрызгался Алферов. Всего шесть часов осталось. Сейчас она спит в вагоне, промахивают в темноте телеграфные столбы, сосны, взбегающие скаты… Как стучат эти скачущие юноши. Скоро ли они кончат плясать… Да, удивительно просто… В действиях судьбы есть иногда нечто гениальное…

— Да, я, пожалуй, пойду, прилягу, — глухо сказал Подтягин и, тяжело вздохнув, встал.

— Куда же вы, идеал мужчины? Стойте… Побудьте еще моментик, — радостно забормотал Алферов.

— Пейте и молчите, — обернулся к нему Ганин и быстро подошел к Подтягину. — Обопритесь на меня, Антон Сергеевич.

Старик мутно глянул на него, сделал движение рукой, как будто целился на муху, и вдруг с легким клекотом зашатался, повалился вперед.

Ганин и Клара успели поддержать его, танцоры заметались вокруг. Алферов, еле ворочая вязким языком, заблябал с пьяным равнодушием: «Смотрите, смотрите, это он умирает».

— Не вертитесь зря, Горноцветов, — спокойно говорил Ганин. — Держите его голову, Колин, — вот здесь… подоприте. Нет, это моя рука, — повыше. Да не глазейте на меня. Повыше, говорю вам. Откройте дверь, Клара.

Втроем они понесли старика в его комнату. Алферов, пошатываясь, вышел было за ними, потом вяло махнул рукой и сел у стола. Дрожащей рукой налив себе водки, он вытащил из жилетного кармана никелевые часы и положил их перед собой на стол.

— Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, — повел он пальцем по римским цифрам и замер, боком повернув голову, и одним глазом следя за секундной стрелкой.

В коридоре тонко и взволнованно затявкала

такса. Алферов поморщился.

— Паршивый пес… Раздавить бы его.

Погодя немного, он вынул из другого кармана химический карандашик и намазал лиловую черточку по стеклу над цифрой восемь.

— Едет, едет, едет… — думал он в такт тиканью.

Он пошарил глазами по столу, выбрал шоколадную конфету и тотчас же выплюнул ее. Коричневый комок шлепнулся об стену.

— Три, четыре, пять, семь, — опять засчитал Алферов и с блаженной мутной улыбкой подмигнул циферблату.

# XVI

За окном ночь утихла. По широкой улице уже шагал, постукивая палкой, сгорбленный старик в черной пелерине и, кряхтя, нагибался, когда острие палки выбивало окурок. Изредка проносился автомобиль, и еще реже, устало цокая подковами, протряхивал ночной извозчик. Пьяный господин в котелке ожидал на углу трамвая, хотя трамвай вот уже два часа как не ходил. Несколько проституток разгуливали взад и вперед, позевывая и болтая с подозрительными господами в поднятых воротниках пальто. Одна из них окликнула Колина и Горноцветова, которые чуть не бегом пронеслись мимо, но тотчас же отвернулась, профессиональным взглядом окинув их бледные, женственные лица.

Танцоры взялись привести к Подтягину знакомого русского доктора и действительно через полтора часа явились обратно в сопровождении заспанного господина с бритым, неподвижным лицом. Он пробыл полчаса и, несколько раз издав сосущий звук, как будто у него была дырка в зубе, ушел.

Теперь в неосвещенной комнате было очень тихо. Стояла та особая, тяжелая, глуховатая тишина, которая бывает, когда несколько человек молча сидят вокруг больного. Уже начинало светать, воздух в комнате как будто медленно линял, — и профиль Ганина, пристально глядевшего на кровать, казался высеченным из бледно-голубого камня; у изножья, в кресле, смутно посиневшем в волне рассвета, сидела Клара и смотрела туда же, ни на миг не отводя едва блестевших глаз. Поодаль, на маленьком диванчике рядышком уселись Горноцветов и Колин, — и лица их были как два бледных пятна.

Доктор уже спускался по лестнице за черной фигуркой г-жи Дорн, которая, тихо бренча связкой ключей, просила прощенья за то, что лифт испорчен. Добравшись до низу, она отперла тяжелую дверь, и доктор, на ходу приподняв шляпу, вышел в синеватый туман рассвета.

Старушка тщательно заперла дверь и, кутаясь в черную вязаную шаль, пошла наверх. Свет на лестнице горел желтовато и холодно. Тихо побренькивая ключами, она дошла до площадки. Свет на лестнице потух.

В прихожей она встретила Ганина, который, осторожно прикрывая дверь, выходил из комна-

ты Подтягина.

— Доктор обещал утром вернуться, — прошептала старушка. — Как ему сейчас, — легче?

Ганин пожал плечом:

— Не знаю. Кажется, — нет. Его дыхание… звук такой… страшно слушать.

Лидия Николаевна вздохнула и пугливо вошла в комнату. Клара и оба танцора одинаковым движеньем обратили к ней бледно блеснувшие глаза и опять тихо уставились на постель. Ветерок толкнул раму полуоткрытого окна.

А Ганин прошел на носках по коридору и вернулся в номер, где давеча была пирушка. Как он и предполагал, Алферов все еще сидел у стола. Его лицо опухло и отливало серым лоском от смеси рассвета и театрально убранной лампы; он клевал носом, изредка отрыгивался; на часовом стеклышке перед ним блестела капля водки, и в ней расплылся лиловатый след химического карандаша. Оставалось около четырех часов.

Ганин сел подле него и долго глядел на его пьяную дремоту, хмуря густые брови и подпирая кулаком висок, отчего слегка оттягивалась кожа и глаз становился раскосым.

Алферов вдруг дернулся и медленно повернул к нему лицо.

— Не пора ли вам ложиться, дорогой Алексей Иванович, — отчетливо сказал Ганин.

— Нет, — с трудом выговорил Алферов и, подумав, словно решал трудную задачу, повторил: — нет…

Ганин выключил ненужный свет, вынул портсигар, закурил. От холода бледной зари, от табачного дуновенья, Алферов как будто слегка протрезвел.

Он помял ладонью лоб, огляделся и довольно твердой рукой потянулся за бутылкой.

На полпути его рука остановилась, он закачал головой, потом с вялой улыбкой обратился к Ганину:

— Не надо больше… этого. Машенька приезжает.

Погодя, он дернул Ганина за руку:

— Э… вы… как вас зовут… Леб Лебович… слышите… Машенька.

Ганин выпустил дым, пристально глянул Алферову в лицо, — все вобрал сразу: полуоткрытый, мокрый рот, бородку цвета навозца, мигающие водянистые глаза…

— Леб Лебович, вы только послушайте, — качнулся Алферов, хватая его за плечо, — вот я сейчас вдрызг, вдребезги, на положении дров… Сами,

черти, напоили… Нет, — совсем не то… Я вам о девочке рассказывал…

— Вам надо выспаться, Алексей Иванович.

— Девочка, говорю, была. Нет, я не о жене… вы не думайте… Жена моя чи-истая… А вот я сколько лет без жены… Так вот, недавно, — нет, давно… не помню когда… девочка меня повела к себе… На лису похожая… Гадость такая, — а все-таки сладко… А сейчас Машенька приедет… Вы понимаете, что это значит, — вы понимаете или нет? Я вот — вдрызг, — не помню, что такое перпе… перпед… перпендикуляр, — а сейчас будет Машенька… Отчего это так вышло? А? Я вас спрашиваю?! Эй, ты, большевик… Объясни-ка, можешь?

Ганин легко оттолкнул его руку. Алферов, покачивая головой, наклонился над столом, локоть его пополз, морща скатерть, опрокидывая рюмки. Рюмки, блюдце, часы поползли на пол…

— Спать, — сказал Ганин и сильным рывком поднял его на ноги.

Алферов не сопротивлялся, но так качало его, что Ганин с трудом направлял его шаги.

Очутившись в своей комнате, он широко и сонно ухмыльнулся, медленно повалился на постель. Но внезапно ужас прошел у него по лицу.

— Будильник… — забормотал он, приподняв-

шись, — Леб, — там, на столе, будильник… На половину восьмого поставь.

— Ладно, — сказал Ганин и стал поворачивать стрелку. Поставил ее на десять часов, подумал и поставил на одиннадцать.

Когда он опять посмотрел на Алферова, тот уже крепко спал, навзничь раскинувшись и странно выбросив одну руку.

Так в русских деревнях спят шатуны пьяные. Весь день сонно сверкал зной, проплывали высокие возы, осыпая проселочную дорогу сухими травинками, — а бродяга буйствовал, приставал к гулявшим дачницам, бил в гулкую грудь, называя себя сынком генеральским, и наконец, шлепнув картузом оземь, ложился поперек дороги, да так и лежал, пока мужик не слезет с воза. Мужик оттаскивал его в сторонку и ехал дальше; и шатун, откинув бледное лицо, лежал, как мертвец, на краю канавы, — и зеленые громады возов, колыхаясь и благоухая, плыли селом, сквозь пятнистые тени млеющих лип.

Ганин, беззвучно поставив на стол будильник, долго стоял и смотрел на спящего. Постояв, потренькав монетами в кармане штанов, он повернулся и тихо вышел.

В темной ванной комнатке, рядом с кухней,

сложены были в углу под рогожей брикеты. В узком окошке стекло было разбито, на стенах выступали желтые подтеки, над черной облупившейся ванной криво сгибался металлический хлыст душа. Ганин разделся донага и в продолжение нескольких минут расправлял руки и ноги — крепкие, белые, в синих жилках. Мышцы хрустели и переливались. Грудь дышала ровно и глубоко. Он отвернул кран душа и постоял под ледяным веерным потоком, от которого сладко замирало в животе.

Одевшись, весь подернутый огненной щекоткой, он, стараясь не шуметь, вытащил в прихожую свои чемоданы, поглядел на часы. Было без десяти шесть.

Он бросил пальто и шляпу на чемоданы и тихо вошел в номер Подтягина.

Танцоры спали рядышком, на диванчике, прислонившись друг к другу. Клара и Лидия Николаевна нагибались над стариком. Глаза у него были закрыты, лицо, цвета высохшей глины, изредка искажалось выражением муки. Было почти светло. Поезда с заспанным грохотом пробирались сквозь дом.

Когда Ганин приблизился к изголовью, Подтягин открыл глаза. На мгновенье в бездне, куда он

все падал, его сердце нашло шаткую опору. Ему захотелось сказать многое, — что в Париж он уже не попадет, что родины он и подавно не увидит, что вся жизнь его была нелепа и бесплодна и что он не ведает, почему он жил, почему умирает. Перевалив голову набок и окинув Ганина растерянным взглядом, он пробормотал: «вот... без паспорта», — и судорожная улыбка прошла по его губам. Он снова зажмурился, и снова бездна засосала его, боль клином впилась в сердце, — и воздух казался несказанным, недостижимым блаженством.

Ганин, сильной белой рукой сжав грядку кровати, глядел старику в лицо, и снова ему вспомнились те дрожащие теневые двойники русских случайных статистов, тени, проданные за десять марок штука и Бог весть где бегущие теперь в белом блеске экрана. Он подумал о том, что все-таки Подтягин кое-что оставил, хотя бы два бледных стиха, зацветших для него, Ганина, теплым и бессмертным бытием: так становятся бессмертными дешевенькие духи или вывески на милой нам улице. Жизнь на мгновенье представилась ему во всей волнующей красе ее отчаянья и счастья, — и все стало великим и очень таинственным, — прошлое его, лицо

Подтягина, облитое бледным светом, нежное отраженье оконной рамы на синей стене, — и эти две женщины в темных платьях, неподвижно стоящие рядом.

И Клара с изумленьем заметила, что Ганин улыбается, — и его улыбку понять не могла.

Улыбаясь, он тронул руку Подтягина, чуть шевелившуюся на простыне, и, выпрямившись, обернулся к госпоже Дорн и Кларе.

— Я уезжаю, — сказал он тихо. — Вряд ли мы опять встретимся. Передайте мой привет танцорам.

— Я провожу вас, — сказала Клара так же тихо и добавила, — танцоры спят на диванчике.

И Ганин вышел из комнаты. В прихожей он взял чемоданы, перекинул макинтош через плечо, и Клара открыла ему дверь.

— Благодарствуйте, — сказал он, боком выходя на площадку. — Всего вам доброго.

На мгновенье он остановился. Еще накануне он мельком подумал о том, что хорошо бы разъяснить Кларе, что никаких денег он не собирался красть, а рассматривал старые фотографии, но теперь он не мог вспомнить, о чем хотел сказать. И поклонившись, он стал не торопясь спускаться по лестнице. Клара, держась за скобку двери,

глядела ему вслед. Он нес чемоданы, как ведра, и его крепкие шаги будили в ступенях отзвуки, подобные бою медленного сердца. Когда он исчез за поворотом перил, она еще долго слушала этот ровный, удалявшийся стук. Наконец, она закрыла дверь, постояла в прихожей. Повторила вслух: «Танцоры спят на диванчике», и вдруг бурно и тихо разрыдалась, указательным пальцем водя по стене.

# XVII

Тяжелые, толстые стрелки на огромном циферблате, белевшем наискось от вывески часовщика, показывали 36 минут седьмого. В легкой синеве неба, еще не потеплевшей после ночи, розовело одно тонкое облачко, и было что-то не по-земному изящное в его удлиненном очерке. Шаги нечастых прохожих особенно чисто звучали в пустынном воздухе, и вдали телесный отлив дрожал на трамвайных рельсах. Повозка, нагруженная огромными связками фиалок, прикрытая наполовину полосатым грубым сукном, тихо катила вдоль панели: торговец помогал ее тащить большому рыжему псу, который, высунув язык, весь поддавался вперед, напрягал все свои сухие, человеку преданные, мышцы.

С черных веток чуть зеленевших деревьев спархивали с воздушным шорохом воробьи и садились на узкий выступ высокой кирпичной стены.

Лавки еще спали за решетками, дома освещены были только сверху, но нельзя было представить себе, что это закат, а не раннее утро. Из-за того,

что тени ложились в другую сторону, создавались странные сочетания, неожиданные для глаза, хорошо привыкшего к вечерним теням, но редко видящего рассветные.

Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале. И так же, как солнце постепенно поднималось выше, и тени расходились по своим обычным местам, — точно так же, при этом трезвом свете, та жизнь воспоминаний, которой жил Ганин, становилась тем, чем она вправду была — далеким прошлым.

Он оглянулся и в конце улицы увидел освещенный угол дома, где он только что жил минувшим, и куда он не вернется больше никогда. И в этом уходе целого дома из его жизни была прекрасная таинственность.

Солнце поднималось все выше, равномерно озарялся город, и улица оживала, теряла свое странное теневое очарование. Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая в руках плотные чемоданы, и думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу. И то, что он все замечал с какой-то свежей любовью, — и тележки, что катили на базар, и тонкие, еше сморщенные листики, и разноцветные рекламы, которые человек в фар-

туке клеил по окату будки, — это и было тайным поворотом, пробужденьем его.

Он остановился в маленьком сквере около вокзала и сел на ту же скамейку, где еще так недавно вспоминал тиф, усадьбу, предчувствие Машеньки. Через час она приедет, ее муж спит мертвым сном, и он, Ганин, собирается ее встретить.

Почему-то он вспомнил вдруг, как пошел проститься с Людмилой, как выходил из ее комнаты.

А за садиком строился дом. Он видел желтый, деревянный переплет, — скелет крыши, — кое-где уже заполненный черепицей.

Работа, несмотря на ранний час, уже шла. На легком переплете в утреннем небе синели фигуры рабочих. Один двигался по самому хребту, легко и вольно, как будто собирался улететь.

Золотом отливал на солнце деревянный переплет, и на нем двое других рабочих передвали третьему ломти черепицы.

Они лежали навзничь, на одной линии, как на лестнице, и нижний поднимал наверх через голову красный ломоть, похожий на большую книгу, и средний брал черепицу и тем же движеньем, отклонившись совсем назад и выбросив руки, передавал ее верхнему рабочему. Эта ленивая,

ровная передача действовала успокоительно, этот желтый блеск свежего дерева был живее самой живой мечты о минувшем. Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу — и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, — эти четыре дня были быть может счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем.

И кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может.

Он дождался той минуты, когда по железному мосту медленно прокатил шедший с севера экспресс. Прокатил, скрылся за фасадом вокзала.

Тогда он поднял свои чемоданы, крикнул таксомотор и велел ему ехать на другой вокзал, в конце города. Он выбрал поезд, уходивший через полчаса на юго-запад Германии, заплатил за билет четверть своего состояния и с приятным волненьем подумал о том, как без всяких виз проберется через границу, — а там Франция, Прованс, а дальше — море.

И когда поезд тронулся, он задремал, уткнув-

шись лицом в складки макинтоша, висевшего с крюка над деревянной лавкой.

*Берлин, 1926 г.*